ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/299388830

Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 1984.

Book · January 1984

CITATIONS
9

READS
29,558

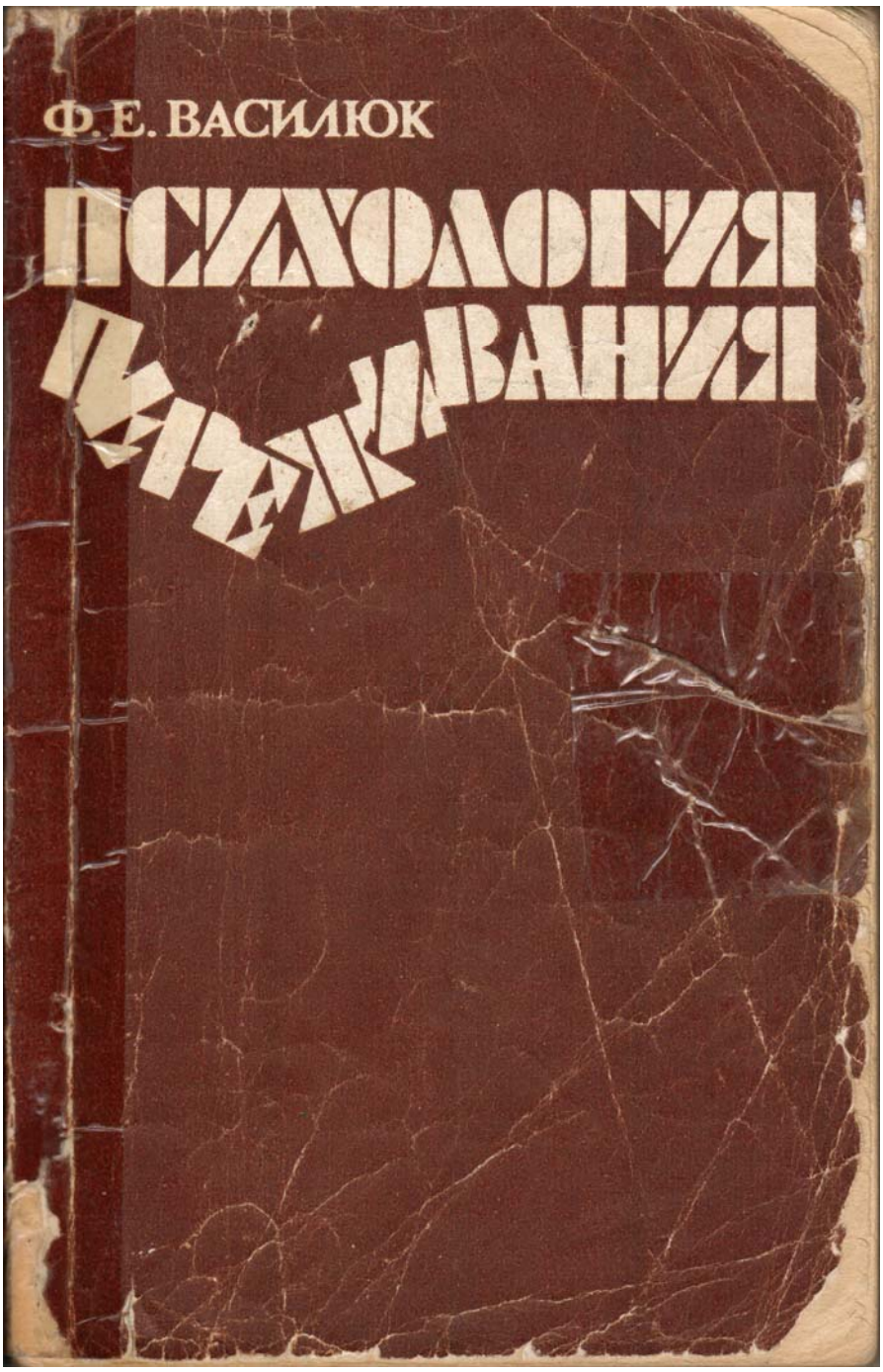
2 authors, including:

Fyodor Vasilyuk
Moscow State University of Psychology & Education
17 PUBLICATIONS **184** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Fyodor Vasilyuk on 23 March 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.



Библиографическая ссылка:
Василюк, Ф.Е. Психология переживания [Текст] / Ф.Е. Василюк. – М.: МГУ, 1984. – 240с.

**Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова**

**Межведомственный
научный совет
по проблеме „Сознание“**

Ф.Е.ВАСИЛЮК

ПСИХОЛОГИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ

**АНАЛИЗ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИТИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЙ**

**Издательство
Московского университета
1984**

Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 200 с.

Монография посвящена исследованию критических жизненных ситуаций и процессов их преодоления. Проанализированы ситуации стресса, фрустрации, внутреннего конфликта и жизненного кризиса. Чтобы справиться с этими ситуациями, пережить их, человеку необходимо проделать порой мучительную внутреннюю работу по восстановлению душевного равновесия, осмысленности жизни. Установление и систематизация основных закономерностей процесса переживания — то новое, что вносит книга в психологию преодоления критических ситуаций.

Книга рассчитана на психологов, психотерапевтов, философов, педагогов, работников служб социально-психологической помощи населению.

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

Рецензенты:

действительный член АПН СССР, профессор *В. В. Давыдов*
доктор философских наук, профессор *В. А. Лекторский*

Федор Ефимович Василюк

ПСИХОЛОГИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ
(анализ преодоления критических ситуаций)

Заведующая редакцией Г. С. Ливанова. Редактор И. И. Шевцова. Художественный редактор Б. С. Вехтер. Обложка художника Б. В. Гордона. Технический редактор К. С. Чистякова. Корректоры Л. А. Айдарбекова, С. Ф. Будаева

Тематический план 1984 г. № 40
ИБ № 1793

Сдано в набор 21.06.83. Подписано к печати 21.02.84. Л.79743 Формат 84X108$^{1}/_{32}$ Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 10,5 Уч.-изд. л. 10,91 Зак. 142 Тираж 46 000 экз. Цена 65 коп. Изд. № 2605

Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета. 103009 Москва, ул. Герцена, 5/7. Типография ордена «Знак Почета» изд-ва МГУ. Москва, Ленинские горы

В $\frac{0304000000–230}{077(02)–84}$ 40–84

© Издательство Московского университета, 1884 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В классической психологии феноменальный мир сознания, мир субъективных человеческих переживаний рассматривался как изначально внутренний и не имеющий никакой связи с внешней предметной деятельностью. Одновременно с этим и действие рассматривалось как машинообразное исполнение команд, а движение — как сокращение мышц и растягивание сухожилий. Потому классическая психология не пускала действие на порог психологических лабораторий. Последующая история психологической науки полна хитроумных попыток преодолеть дихотомию человеческого сознания и человеческого бытия в мире и вывести психологию из замкнутого в себе феноменального мира сознания. Решающий шаг в преодолении разрыва между внешним и внутренним был сделан Л. С. Выготским, А. В. Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурией, С. Л. Рубинштейном и их учениками и последователями, положившими начало созданию психологической теории деятельности. Согласно этой теории возникновение опосредствованной структуры психологических процессов человека есть продукт его деятельности как общественного человека. Психические процессы порождаются деятельностью и становятся ее функциональными органами. Вначале эта теория развивалась на материале познавательных процессов, таких, как восприятие, внимание, память, мышление. В ее рамках перечисленные процессы рассматриваются как особые формы перцептивных, мнемических, умственных действий, проходящих сложный путь становления и развития. Накопленные данные

свидетельствуют о том, что нечто в сознании обладает бытийными (и поддающимися объективному анализу) характеристиками, источником которых является человеческое предметное действие, обладающее, в свою очередь, биодинамической и чувственной тканью. Именно в этом состоит действительное содержание принципа единства сознания и деятельности. Анализ классической психологии сознания, проделанный А. Н. Леонтьевым, показал бесперспективность исследования индивидуального сознания вне его связей, во-первых, с конкретным бытием человека и, во-вторых, с общественным сознанием.

Вместе с тем в психологической теории деятельности существовал известный разрыв между деятельностной трактовкой познавательных процессов и деятельностной трактовкой сознания. Нельзя перейти от познавательных процессов к сознанию, минуя деятельностную трактовку человеческих эмоций и переживаний. Конечно, представители психологической теории деятельности обращались и к сфере эмоций, и к миру субъективных переживаний. Здесь в первую очередь может быть названо имя Л. С. Выготского, который в конце жизни предпринял большое теоретическое исследование, посвященное учению Б. Спинозы о страстях. Он писал о том, что в системе значений обобщается, осознается мир внутренних переживаний — человек выходит из «рабства аффектов» и обретает внутреннюю свободу. С. Л. Рубинштейну принадлежит положение о том, что эмоции рождаются в действии и поэтому в каждом действии заключены хотя бы зачатки эмоциональности. А. В. Запорожец начал исследования генезиса детских эмоций и рассматривал последние как функциональные органы индивида, как специфические формы действия. Более сорока лет назад А. Н. Леонтьев и А. Р. Лурия писали о том, что необходимо рассматривать сложные человеческие переживания как продукт исторического развития. Другими словами, при разработке психологической теории деятельности неоднократно высказывались определенные методологические

положения о том, как строить деятельностную теорию человеческих эмоций и переживаний. К этому вела логика развития самой психологической теории деятельности. И именно эту задачу поставил перед собой автор настоящей книги Ф. Е. Василюк, являющийся непосредственным учеником А. Н. Леонтьева.

Значит ли это, что перед нами книга об эмоциях? Нет. Понять ее таким образом значит вырядить новое психологическое содержание в старые, привычные одежды. Проблема переживания, так, как она поставлена в книге, не вписывается в традиционную проблематику эмоциональных процессов. Дело в том, что теория деятельности вообще требует совсем иных расчленений, чем те, которые достались нам в наследство от классической психологии.

В качестве объекта своего исследования автор избрал процессы, с помощью которых человек преодолевает критические жизненные ситуации. Указанная проблема в работе Ф. Е. Василюка поставлена смело и широко. Главную суть замысла можно сформулировать так: исследовать с психологической точки зрения, что *человек делает, когда сделать уже ничего нельзя, когда он попадает в ситуацию невозможности реализации своих потребностей, установок, ценностей и т. д. Чтобы теоретически зафиксировать этот объект, автор вводит в концептуальный аппарат психологической теории деятельности новую категорию — категорию переживания. Переживание рассматривается в книге не как отблеск в сознании субъекта тех или иных его состояний, не как особая форма созерцания, а как особая форма деятельности, направленная на восстановление душевного равновесия, утраченной осмысленности существования, словом — на «производство смысла».*

Основная цель исследования — установление закономерностей, которым подчиняются процессы переживания. Для достижения этой цели Ф. Е. Василюк использует метод категориальной типологии. Этот метод является одной из возможных конкретизаций марксова метода восхож-

дения от абстрактного к конкретному, и именно этим объясняется успех содержащегося в работе типологического анализа закономерностей переживания. В работе выделены четыре принципа, которым подчиняются процессы переживания. Это принципы удовольствия, реальности, ценности и творчества. Нужно подчеркнуть, что речь идет об установлении (можно даже сказать об открытии) системы психологических закономерностей, *а не о простой механической добавке новых для психологии переживания принципов ценности и творчества к двум, издавна известным. Принципы удовольствия и реальности в рамках этой системы критически переосмыслены, они фактически заново открыты, поскольку впервые объяснена их внутренняя, психологическая структура. Не менее важно и то, что включение их в целостную систему закономерностей показывает их действительное место в психике человека, демонстрируя тем самым принципиальную философско-методологическую ограниченность психоаналитической теории, абсолютизировавшей принципы удовольствия и реальности и вследствие этого сводившей высшие, духовные закономерности психической жизни к низшим.*

В книге убедительно показана опосредствованность процессов переживания определенными структурами, или «схематизмами» общественного сознания и подчеркнуто, что эти структуры являются не натуральными, как считал, например, К.-Г. Юнг, а историко-культурными образованиями.

Очень важным и ценным для психологической теории деятельности в целом (а не только для теории переживания) представляется проделанный в работе переход от схемы отдельной деятельности к схеме жизненного мира. Идея эта не нова, но тут она впервые проведена не декларативно, а на деле. В этой онтологии жизненного мира и построено представление о переживании как особой деятельности по переделыванию человеком себя в мире и мира в себе в критических жизненных ситуациях. Понятие жизненного мира важно для преодоления еще очень жи-

вучих в психологии пережитков классического гносеологизма, мыслившего субъект и объект отделенными и противопоставленными друг другу в бытийном плане и встречающимися только в познавательной плоскости. Понятие жизненного мира фиксирует тот факт, что мы нигде, кроме наших теоретических конструкций, не встречаем человека до и вне мира, в котором он живет, и рассмотрение его в абстракции от этого мира есть ложный теоретический ход, приведший в свое время психологию к кризису, последствия которого ощутимы в ней до сих пор.

Психологическая теория деятельности имеет высокий практический потенциал. Ее концептуальные схемы успешно используются в детской и педагогической психологии, психологии труда и эргономике, социальной и медицинской психологии. Книга Ф. Е. Василюка чисто теоретическая. Однако по своей основной направленности она ориентирована на совершенно определенную практику психологической помощи человеку, оказавшемуся в ситуации жизненного кризиса. Она как бы «тянется» к этой практике, что продемонстрировано в Заключении, где автор описывает свои первые шаги в качестве психолога-практика.

Книга Ф. Е. Василюка вносит существенный вклад в развитие психологической теории деятельности и тем самым расширяет сферу практического приложения этой теории, включая в нее то, что носит наименование жизненной психологии. Напомним слова Л. С. Выготского: «Не только жизнь нуждается в психологии и практикует ее в других формах везде, но и в психологии надо ждать подъема от этого соприкосновения с жизнью».

Профессор *В. П. Зинченко*

ОТ АВТОРА

Отечественная психология давно перестала быть чисто академической дисциплиной, но она все еще в большом долгу перед практикой. В различных областях общественной жизни этот долг активно выплачивается — фигура психолога становится все более привычной на современном заводе и в медицинском учреждении, в педагогике и юриспруденции. Но потребность в психологической помощи существует не только в социальной практике, но и в личной и семейной жизни, и эта потребность удовлетворяется пока совершенно недостаточно. С другой стороны, сама психология, особенно так называемая «интересная психология», исследующая мотивы, эмоции, личность человека, не может далее продуктивно развиваться только в стенах лаборатории, не принимая деятельного участия в реальной человеческой жизни.

Под влиянием этой обоюдной заинтересованности сейчас открывается новый (и долгожданный) период в развитии отечественной практической психологии: буквально на наших глазах зарождается сфера психологического обслуживания населения — служба семьи, суицидологическая служба с сетью кабинетов «социально-психологической помощи» и кризисных стационаров, психологическая служба вуза и т.д. [11; 12; 31 и др.].

Еще не вполне ясны конкретные организационные формы выделения «личностной» психологической службы в самостоятельную практику, но каковы бы они ни были, сам факт ее появления ставит перед общей психологией задачу разработки принципиальных теоретических основ, которыми эта практика могла бы руководствоваться.

Сами эти основы должны опереться на осознание той, не совсем еще привычной профессиональной позиции, которую занимает психолог, практически работающий с личностью. Если в рамках педагогической, юридической, медицинской и других сфер деятельности психолог выступал как консультант и помощник педагога, врача или юриста, обслуживающий этих специалистов, то, занимая указанную позицию, он становится ответственным производителем работ, непосредственно обслуживающим обратившегося к нему за помощью человека. И если раньше психолог видел его сквозь призму вопросов, стоящих перед другими специалистами (уточнение диагноза, определение вменяемости и т.д.), или своих собственных *теоретических* вопросов, то теперь, в качестве *ответственного субъекта самостоятельной психологической практики,* он впервые профессионально сталкивается не с больным, учащимся, подозреваемым, оператором, испытуемым и пр., а с **человеком** во всей полноте, конкретности и напряженности его жизненных проблем. Это не значит, конечно, что психолог-профессионал должен действовать, так сказать, чисто «по-человечески», главный вопрос как раз в том и состоит, чтобы из этой жизненной проблематики выделить собственно психологический аспект и очертить тем самым зону компетенции психолога.

Принципиальное ограничение этой зоны задается тем, что профессиональная деятельность психолога не совпадает по своему направлению с прагматической или этической устремленностью обратившегося за помощью человека, с направленностью в мир его эмоционально-волевой установки: психолог не может прямо заимствовать свои профессиональные цели из набора актуальных целей и желаний пациента, и соответственно его профессиональные действия и реакции на события жизни пациента не могут автоматически определяться тем, чего хочет пациент.

Это не означает, разумеется, что психолог должен убить в себе сочувствие и сопереживание и раз и навсегда отказать себе в праве отреагировать на «крик о помощи» [249] не как специалист, а просто как человек, т.е. этически: дать дружеский совет, утешить, оказать практическое содействие. Эти действия лежат в таком измерении жизни, где ни о каком профессиональном долженствовании речи быть не может, как не может быть речи о предписании или запрещении врачу давать больному свою собственную кровь.

Что психолог действительно должен, если он хочет быть полезен человеку как специалист, — это, сохранив способность к состраданию, образующую эмоционально-мотивационную почву, которая питает его практическую деятельность, научиться подчинять свои непосредственные этические реакции, прямо вытекающие из сострадания, позитивно определенной программе психологической помощи, как это умеет в своей области делать хирург во время операции или учитель, применяющий то или иное воспитательное воздействие, отнюдь не всегда приятное для воспитанника.

Но почему, собственно, необходимо это умение подчинять непосредственные этические реакции профессионально-психологической установке? Потому, во-первых, что утешение и жалость не совсем то (а часто и совсем не то), что требуется пациенту для преодоления кризиса. Во-вторых, потому, что житейские советы, на которые падки многие пациенты, большей частью просто бесполезны или даже вредны для них, потакая их бессознательному стремлению снять с себя ответственность за свою собственную жизнь. Психолог вообще не специалист по житейским советам, полученное им образование отнюдь не совпадает с обретением мудрости, и, стало быть, факт наличия диплома не дает ему морального права делать конкретные рекомендации, как поступить в той или иной жизненной ситуации. И еще: прежде чем обратиться к психологу, пациент обычно обдумал все возможные пути выхода из затруднительного положения и нашел их неудовлетворительными. Нет оснований полагать, что, обсуждая с пациентом в той же плоскости его жизненную ситуацию, психологу удастся найти не замеченный им выход. Сам факт такого

обсуждения поддерживает в пациенте нереалистические надежды на то, что психолог может решить за него жизненные проблемы, а почти неизбежная неудача ударяет по авторитету психолога, уменьшая шансы на конечный успех его дела, не говоря уже о том, что пациент зачастую испытывает нездоровое удовлетворение от выигранной у психолога «игры», описанной Э. Берне [174] [1] под названием «А Вы попробуйте. — Да, но...» И наконец, третья из возможных непосредственных этических реакций на беду другого человека — практическая помощь ему — не может входить в арсенал профессионально-психологических действий просто потому, что психолог при всем желании не может улучшить его материальное или социальное положение, исправить внешность или вернуть утраченного близкого человека, т.е. не может воздействовать на внешний, бытийный аспект его проблем.

Все эти моменты очень важны для формирования трезвого отношения пациентов (да и самого психолога) к возможностям и задачам психологической помощи. Однако главная причина, которая заставляет психолога выходить за пределы непосредственного этического реагирования в поисках собственно психологических средств помощи, заключается в том, что человек всегда сам и только сам может **пережить** события, обстоятельства и изменения своей жизни, породившие кризис. Никто за него этого сделать не может, как не может самый искушенный учитель *понять* за своего ученика объясняемый материал.

Но процессом переживания можно в какой-то мере управлять — стимулировать его, организовать, направлять, обеспечивать благоприятные для него условия, стремясь к тому, чтобы этот процесс в идеале вел к росту и совершенствованию личности — или по крайней мере не шел патологическим или социально неприемлемым путем (алкоголизм, невротизация, психопатизация, самоубийство, преступление и т.д.). Переживание, таким образом, составляет основной предмет приложения усилий практического психолога, помогающего личности в ситуации жизненного

[1] Имеется русский перевод книги Э. Берне, выполненный во Всесоюзном центре переводов научно-технической литературы и документации (перевод № Ц-45434).

кризиса. А раз так, то для построения теоретического фундамента этой практики вполне естественно *процесс переживания* сделать *центральным предметом общепсихологического* исследования проблемы преодоления критических ситуаций.

Читатель, вероятно, уже заметил, что термин «переживание» используется нами не в привычном для научной психологии смысле, как непосредственная, чаще всего эмоциональная, форма данности субъекту содержаний его сознания, а для обозначения особой *внутренней деятельности, внутренней работы,* с помощью которой человеку удается перенести те или иные (обычно тяжелые) жизненные события и положения, восстановить утраченное душевное равновесие, словом, справиться с критической ситуацией.

Почему для обозначения предмета нашего исследования мы сочли возможным воспользоваться уже «занятым» термином, на этот вопрос мы ответим позже, во Введении. Но почему вообще приходится идти на терминологическое нововведение? Дело, конечно, не в том, что исследуемая нами область психической реальности является для психологии terra incognita и должна быть впервые названа, а в том, что существующие имена ее — психологическая защита, компенсация, совладающее поведение (coping behavior) и пр. — нас не устраивают, поскольку выражаемые ими категории фиксируют лишь частные аспекты видящейся нам здесь целостной проблемы, и ни одна из них, значит, не может претендовать на роль общей категории. С другой стороны, новый термин требуется потому, что мы хотим сразу же, с порога, отмежеваться от теоретически ограниченной методологии, доминирующей в изучении этой сферы психической реальности, и вести анализ с позиций определенной психологической концепции — теории деятельности А. Н. Леонтьева [87; 89], а в ее арсенале просто нет соответствующего понятия.

Последнее обстоятельство не случайно. Хотя многие исследования в рамках этой теории в той или иной мере затрагивают интересующую нас тематику [14; 15; 16; 36; 44; 86; 87; 89; 105; 108; 138; 142 и др.], попытки отчетливо сформулировать эту проблему в самом общем теоретическом плане пока еще предпринято не было. Вероятная причина того, что теория

деятельности до сих пор только мимоходом касалась этой сферы психической реальности заключается в том, что эта теория основное внимание уделяла изучению предметно-практической деятельности и психического отражения, а необходимость в переживании возникает как раз в таких ситуациях, которые не могут быть непосредственно разрешены практической деятельностью, каким бы совершенным отражением она ни была обеспечена. Это нельзя понять так, что к переживанию вообще неприложима категория деятельности и что оно, таким образом, «по природе» выпадает из общей теоретико-деятельностной картины; наоборот, переживание дополняет эту картину, представляя собой по сравнению с внешней практической и познавательной деятельностями особый тип деятельностных процессов[2], которые специфицируются в первую очередь своим продуктом. Продукт работы переживания всегда нечто *внутреннее* и *субъективное* — душевное равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое ценностное сознание и т.д., в отличие от *внешнего* продукта практической деятельности и внутреннего, но *объективного* (не в смысле непременной истинности по содержанию, а в смысле отнесенности ко внешнему по форме) продукта познавательной деятельности (знания, образа).

Итак, в проблеме переживания теория деятельности обнаруживает новое для себя измерение. Это и определило основную цель исследования — с позиций деятельностного подхода разработать систему теоретических представлений о закономерностях преодоления человеком критических жизненных ситуаций и тем самым расширить границы общепсихологической

[2] В этом ряду не упомянуты эмоциональные процессы не потому, что их здесь замещает переживание, это не так. Просто они в этот ряд вообще не входят как равноправный его член, так как не являются процессами деятельности. Действительно, специфически деятельностные проблемы «как?», «с помощью каких средств?» и проч. могут стоять в практической плоскости, в познавательной и в плоскости переживания («Нынче весной, — рассказывает герой А.Н. Островского, — один закладчик повесился: обокрали его на двадцать тысяч. Да и есть от чего. Как это пережить? Как пережить?»), в эмоциональной же сфере они неосмысленны: нет такой озадаченности — как, с помощью каких средств ощутить радость, боль, тоску; не вызвать в себе, а именно ощутить уже возникшее чувство?

теории деятельности, выделив в ней психологию переживания как особый предмет теоретических исследований и методических разработок.

Понятно, что такая цель не может быть достигнута эмпирическим путем, путем накопления и без того многочисленных фактов. Ее достижение предполагает применение теоретического метода. В качестве такового мы использовали марксов метод «восхождения от абстрактного к конкретному» [1; 2; 56; 73; 162]. На конкретно-методическом уровне наше теоретическое движение организовывалось методикой категориально-типологического анализа, принципы и приемы которого мы заимствовали из работ и устных выступлений О. И. Генисаретского [55; 110][3].

Сформулированная таким образом цель, избранный метод ее достижения и наличные историко-научные условия определили следующую последовательность задач, решавшихся в нашем исследовании.

Сначала необходимо было поставить проблему переживания в контексте психологической теории деятельности, систематически ввести категорию переживания в этот контекст. Слово «ввести», может быть, не совсем точно выражает внутреннюю суть этой задачи, ибо категорию переживания мы не взяли в готовом виде за пределами теории деятельности из какой-либо другой теории, а скорее пытались вненаучную, интуитивно понятную идею переживания «огранить» понятиями и категориями психологической теории деятельности. Такое «огранение» сродни процессу вспоминания, когда мы не можем точно назвать некое содержание, но постепенно сужаем зону поиска, определяя, к чему оно относится и чем оно не является.

Только выкристаллизовав в теле «материнской» общепсихологической теории идею интересующего нас объекта и получив таким образом определенную точку опоры, можно было приступить к обзору имеющихся в психологической литературе представлений о нем, не рискуя потонуть в обилии материала, завязнуть в деталях и упустить главное. Обзор почти совсем лишен историчности, он строится строго си-

[3] Пользуясь случаем, автор выражает признательность О.И. Генисаретскому за необычайную щедрость, с которой он делился своими знаниями и методологическим искусством.

стематически. Читатель, надеющийся ознакомиться с оригинальными представлениями о стрессе, конфликте, фрустрации и кризисе, о психологической защите и компенсации, будет, видимо, разочарован этим обзором. Он обнаружит в первой главе не галерею самостоятельных теоретических позиций, а скорее строительную площадку, где готовятся отдельные элементы и целые блоки будущей, кое-где уже угадываемой конструкции.

Цель второй, конструктивной главы заключалась в том, чтобы, взяв исходные абстракции психологической теории деятельности и руководствуясь, с одной стороны, общей идеей переживания, а с другой, данными аналитического обзора, развернуть эти абстракции в направлении интересующей нас эмпирии с целью ее теоретического воспроизведения в такого рода знании, которое фиксирует закономерности процессов, а не их общие признаки.

Выделением этих закономерностей «восхождение к конкретному», разумеется, не заканчивается. В третьей, заключительной, главе ставится проблема культурно-исторической детерминации переживания, разработка которой должна, по нашему замыслу, перебросить мост от общих закономерностей этого процесса, т.е. от переживания вообще, переживания некоего абстрактного индивида, к переживанию конкретного человека, живущего среди людей в определенную историческую эпоху. В этой главе содержится гипотеза об опосредованности процесса переживания определенными структурами общественного сознания, также подробный анализ конкретного случая переживания, выполненный на материале художественной литературы. Этот анализ призван не столько доказать гипотезу (для доказательства его явно недостаточно), сколько проиллюстрировать ее, а заодно и целый ряд положений предыдущих частей работы.

Автор считает своим долгом почтить словами благодарности светлую память А. Н. Леонтьева, под руководством которого начиналось исследование, а также искренне поблагодарить профессора В. П. Зинченко, без участия и поддержки которого эта книга не могла бы увидеть свет, Н. А. Алексеева, Л. М. Хайруллаеву и И. А. Питляр за помощь в работе.

ВВЕДЕНИЕ

Два понятия переживания

Предметом нашего анализа являются процессы, которые в обыденном языке удачно выражаются словом «переживание» (в том значении, в котором «пережить» значит перенести какие-либо, обычно тягостные, события, преодолеть какое-нибудь тяжелое чувство или состояние, вытерпеть, выдержать и т.д.) и в то же время не нашли своего отражения в научном психологическом понятии переживания.

Когда мы обеспокоены тем, ка́к небезразличный нам человек переживет постигшую его утрату, это тревога не о его способности чувствовать страдание, испытывать его (т.е. не о способности переживать в традиционном психологическом смысле термина), а совсем о другом — о том, как ему удастся преодолеть страдание, выдержать испытание, выйти из кризиса и восстановить душевное равновесие, словом, психологически справиться с ситуацией. Речь идет о некотором активном, результативном внутреннем процессе, реально преобразующем психологическую ситуацию, о переживании-деятельности.

Достаточно взглянуть на традиционное психологическое понятие переживания, чтобы убедиться, что оно имеет мало общего с идеей переживания-деятельности. Это традиционное понятие задается через категорию психического

явления. Всякое психическое явление характеризуется своей отнесенностью к той или иной «модальности» (чувству, воле, представлению, памяти, мышлению и т.д.), а со стороны внутренней структуры, во-первых, наличием «имманентной предметности» [176], или предметного содержания [123], и, во-вторых, тем, что оно непосредственно испытывается субъектом, дано ему. Последний аспект психического явления и зафиксирован в понятии переживания. Таким образом, переживание в психологии понимается как непосредственная внутренняя субъективная данность психического явления в отличие от его содержания и «модальности». С этой точки зрения теоретически осмысленны, хотя и режут слух, такие изредка употребляемые выражения, как «мыслительное переживание», «зрительное переживание» и т.п. [29; 42][1].

Чтобы точнее уяснить смысл этого понятия, необходимо рассмотреть переживание в его отношении к сознанию. Оба структурных компонента психического явления — предметное содержание и переживание — как-то даны сознанию, но даны по-разному, в совершенно различных режимах наблюдения. При активных формах восприятия, мышления, памяти сознаваемое предметное содержание выступает как пассивный объект, на который направлена психическая деятельность. То есть предметное содержание дано нам в *сознавании,* которое является особым актом наблюдения, где Наблюдаемое предстает как объект, а Наблюдатель — как субъект этого акта. В случае же переживания эти отношения оборачиваются. Каждому из внутреннего опыта хорошо известен факт, что наши переживания протекают спонтанно, не требуя от нас специальных усилий, даны нам непосредственно, сами собой (ср. декартово «воспринимаем сами собой»). Сказать о переживании, что оно «дано само собой» — значит подчеркнуть, что оно именно дано само, своей силой, а не берется усилием акта созна-

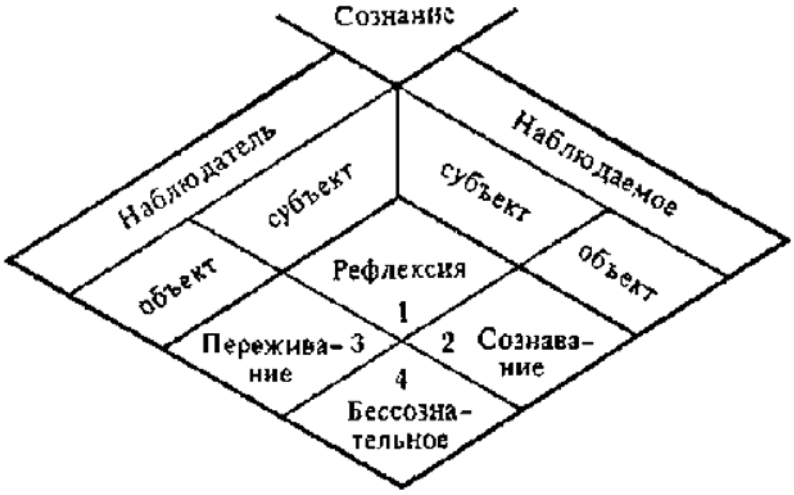
[1] В таком, самом общем определении понятие переживания совпадает с картезианским «cogito». «Под словом мышление (cogitation), — пояснял Декарт, — я разумею все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его сами собой; и поэтому не только понимать, желать, воображать, но также и чувствовать означает здесь то же самое, что и мыслить» [61, с. 429].

вания или рефлексии, иначе говоря, что Наблюдаемое здесь активно и является, следовательно, логическим субъектом, а Наблюдатель, наоборот, лишь испытывает, претерпевает воздействие данности, пассивен и поэтому выступает как логический объект.

Чтобы четче оттенить специфику переживания как особого режима функционирования сознания, нужно назвать две оставшиеся комбинаторные возможности. Когда сознание функционирует как активный Наблюдатель, схватывающий свою собственную активность, т.е. и Наблюдатель и Наблюдаемое обладают активной, субъектной природой, мы имеем дело с рефлексией. И наконец, последний случай, — когда и Наблюдатель и Наблюдаемое являются объектами и, значит, само наблюдение как таковое исчезает, — фиксирует логическую структуру понятия бессознательного. С этой точки зрения становятся понятными распространенные физикалистские представления о бессознательном как о месте молчаливого взаимодействия психологических сил и вещей [71].

В итоге этого рассуждения мы получаем категориальную типологию, указывающую на место переживания среди других режимов функционирования сознания.

Типология режимов функционирования сознания



Мы не имеем возможности останавливаться на подробной интерпретации этой типологии, она слишком далеко увела бы нас от основной темы, тем более что главное и без того достигнуто — сформулирована система со- и противопоставлений, задающих основ-

ной смысл традиционного психологического понятия переживания.

В рамках этого общего смысла наибольшее распространение в современной психологии получил вариант этого понятия, ограничивающий переживание сферой субъективно значимого. Переживание при этом понимается в его противопоставлении объективному знанию: переживание — это особое, субъективное, пристрастное отражение, причем отражение не окружающего предметного мира самого по себе, а мира, взятого в отношении к субъекту, с точки зрения предоставляемых им (миром) возможностей удовлетворения актуальных мотивов и потребностей субъекта. В этом понимании нам важно подчеркнуть не то, что отличает переживание от объективного знания, а то, что объединяет их, а именно, что переживание мыслится здесь как о т р а ж е н и е, что речь идет о переживании-созерцании, а не о переживании-деятельности, которому посвящено наше исследование.

Особое место в психологической литературе по переживанию занимают работы Ф. В. Бассина [18; 19], с именем которого в советской психологии 70-х годов ассоциируются проблематика «значащих переживаний» (термин Бассина) и попытка представить их как «преимущественный предмет психологии» [18, с. 107]. В этих работах понятие переживания получало, если можно так выразиться, серьезную встряску, в результате которой границы его были размыты (но и расширены!) сближением этого понятия с большой и неоднородной массой феноменов и механизмов (среди них «комплекс неполноценности» А. Адлера, эффект «незавершенности действия» Б. Зейгарник, механизмы психологической защиты, механизм «сдвига мотива на цель» А. Н. Леонтьева и т.д. [17; 18]), что позволило Ф. В. Бассину выдвинуть ряд перспективных гипотез, выходящих за пределы традиционного понятия переживания, к одной из которых мы в свое время вернемся. Главное же в работах Ф. В. Бассина заключается, по нашему мнению, в наметившемся, хотя явно не сформулированном переводе к «экономической» точке зрения на переживание, т. е. к усмотрению за поверхностью феноменально ощущаемого потока переживания проделываемой им

работы, производящей реальные и жизненно важные, значимые изменения сознания человека. Если бы такой переход удалось проделать строго и систематически, мы бы имели единую теорию переживания, объединяющую переживание-созерцание и переживание-деятельность в едином представлении.

Ни Бассину, ни кому-либо другому сделать это на уровне целостной теории пока не удалось; исследования переживания-созерцания, ведущиеся в основном в русле изучения эмоций, и исследования переживания-деятельности, осуществляемые в теориях психологической защиты, психологической компенсации, совладающего поведения и замещения, идут большей частью параллельно. Однако в истории психологии существуют образцы удачного сочетания этих двух категорий в клинических анализах конкретных переживаний (например, в анализе З. Фрейдом [155] «работы печали», Э. Линдеманном [217] «работы горя», в сартровском понимании эмоции как «магического действия» [237]), и это дает повод надеяться, что рано или поздно объединяющая теория переживания будет построена.

Введение понятия переживания в категориальный аппарат теории деятельности

Построение такой объединяющей теории — дело будущего. Перед нами стоит куда более скромная задача — разработка представлений о переживании-деятельности с позиций деятельностного подхода в психологии. Вводимое понятие, таким образом, не претендует на то, чтобы заменить собой или включить в себя традиционное понятие переживания[2]. Оно вводится не вместо него, а рядом с ним, как самостоятельное и независимое понятие.

В зарубежной психологии проблема переживания активно изучается в рамках исследования процессов психологической защиты, компенсации, совладающего

[2] Далее вместо термина «переживание-деятельность» мы будем пользоваться термином «переживание», помечая «звездочкой» случаи, когда это слово будет употребляться в традиционном для психологии значении.

поведения. Здесь описана масса фактов, создана развитая техника теоретической работы с ними, накоплен большой методический опыт практической работы с личностью, находящейся в критической жизненной ситуации. В последние годы эта область стала предметом пристального внимания многих советских психологов и психиатров. Теория же деятельности оставалась несколько в стороне от этой проблематики.

А между тем, раз эта теория претендует на роль общей психологии, она не может безучастно смотреть на существование целых пластов психологических фактов (известных другим психологическим системам) и целых областей практической психологической работы без того, чтобы попытаться теоретически ассимилировать эти факты и соответствующий им интеллектуальный и методический опыт.

Нельзя, разумеется, утверждать, что психологическая теория деятельности до сих пор совсем не замечала этой сферы психологической реальности. Ход исследования не раз приводил многих авторов, развивающих теоретико-деятельностный подход, к проблеме переживания. Мы обнаруживаем в их трудах анализ конкретных случаев переживания (вспомним, например, описание А. Н. Леонтьевым [86, с. 22] «психологического выхода», который нашли узники Шлиссельбургской крепости, чтобы пережить необходимость исполнения бессмысленного принудительного труда); разработку представлений о психологических ситуациях и состояниях, являющихся причинами процессов переживания (к ним относятся: «дезинтегрированность сознания» [87], кризис развития личности [68], состояние психической напряженности [105; 106; 108], конфликт личностных смыслов [139; 142]). К идее переживания приходят и при исследовании отдельных психических функций (назовем представление В. К. Вилюнаса [44, с.128-130] об «эмоциональном способе разрешения ситуаций», попытку объяснить такие феномены восприятия, как перцептивная защита и др. с помощью понятия личностного смысла [139]), и при изучении общих механизмов функционирования психики (например, при изучении с деятельностных позиций феномена установки [14]). Кроме того, мы находим в теории деятельности ряд общих понятий, которые могут быть непосредственно исполь-

зованы для развития представлений о переживании. Среди них следует особо выделить понятие «внутренней работы», или «работы сознания» [68, с. 139; 89, с. 206, 222].

Однако все эти, сами по себе ценные, идеи и представления носят разрозненный относительно нашей проблемы характер, поскольку они выдвигались, так сказать, попутно, при решении совсем других теоретических задач, и их, конечно, совершенно недостаточно для теоретического освоения такой важной темы, какой является переживание[3]. Чтобы это освоение носило систематический характер, чтобы оно не было механическим пересаживанием понятий из других концептуальных систем на новую теоретическую почву, а было осуществлено за счет органического роста самой теории деятельности, необходимо ввести в нее новую категорию, вокруг которой группировалась бы разработка этой проблемы. В качестве таковой мы и предлагаем категорию переживания.

Но что значит ввести новую категорию в сложившуюся понятийную систему? Это значит, во-первых, показать такое состояние или качество объекта, изучаемого этой системой, перед описанием и объяснением которого она становится в тупик, т.е. продемонстрировать внутреннюю нужду системы в новой категории, а во-вторых, соотнести ее с основными категориями этой системы.

Достаточно взять одну из классических для теорий психологической защиты и совладающего поведения ситуаций, скажем, ситуацию смерти близкого человека, чтобы обнаружить, что теория деятельности относительно легко может ответить на вопросы, почему при этом возникает психологический кризис и как он феноменологически проявляется, но она даже не задаст самого главного вопроса — как человек выходит из кризиса?

Разумеется, это не принципиальная неспособность теории; просто исторически сложилось так, что ее основные интересы лежали до сих пор в другой плос-

[3] Не случайно А.Н. Леонтьев, обсуждая перспективные проблемы советской психологии, писал о том, что вопросы о конфликтных переживаниях и психологической компенсации до сих пор незаслуженно игнорировались [85].

кости — в плоскости предметно-практической деятельности и психического отражения. Эти категории и определяли характер основных вопросов, с которыми исследователь подходил к психологическому анализу реальности. Но в самой этой реальности, в жизни, существуют ситуации, главная проблема которых не может быть решена ни самым оснащенным предметно-практическим действием, ни самым совершенным психическим отражением. Если человеку угрожает опасность, пишет Р. Питерс, он может попытаться спастись бегством, «но если он охвачен горем: у него умерла жена, то каким особым действием можно исправить эту ситуацию?» [230, с. 192]. Такого действия не существует, потому что нет такого предметного преобразования действительности, которое разрешало бы ситуацию, и соответственно невозможна постановка внутренне осмысленной и в то же время внешне адекватной ситуации (т.е. осуществимой) цели. Значит, предметно-практическое действие бессильно. Но также бессильно и психическое отражение, как рациональное (что очевидно), так и эмоциональное. В самом деле, эмоция, коль скоро она является особым отражением[4], может только выразить субъективный смысл ситуации, предоставив субъекту возможность рационально осознать его, смысл, молчаливо предполагающийся наличным до и независимо от этого выражения и осознания. Иначе: эмоция только к о н с т а т и р у е т отношение между «бытием и долженствованием», но не властна изменить его. Так мыслится дело в теории деятельности. Не обладает способностью разрешить подобную психологическую ситуацию и развертывающийся на основе эмоции процесс решения «задачи на смысл», поскольку он как бы продолжает на другом уровне отражение, начатое эмоцией.

[4] А в теории деятельности эмоция рассматривается именно так и только так. Хотя среди авторов, исследовавших эмоции, существуют разногласия по вопросу об их функциях, то, что эмоция — это отражение, пусть особое, имеющее особый объект (не внешнюю действительность, а отношение ее к потребностям субъекта), особую форму (непосредственного переживания* или так называемой «эмоциональное окраски»), но все-таки отражение и ничто иное — в этом пункте все они едины [32, с. 157; 44; 66, с. 64; 89, с. 198].

Итак, предложенная нами «экзаменационная» ситуация оказывается неразрешимой ни для процессов предметно-практической деятельности, ни для процессов психического отражения. Как далеко бы мы ни шли по линиям этих процессов, нигде не наступит такой момент, когда благодаря им человек справится с непоправимой бедой, вновь обретет утраченный смысл существования, «духовно оправится», по выражению М. Шолохова. Он может в лучшем случае очень точно и глубоко осознать, что произошло в его жизни, что значит для него это событие, т.е. осознать то, что психолог назовет «личностным смыслом» события и что сам человек в данной ситуации может ощутить как лишение смысла, как бессмыслицу[5]. Подлинная проблема, стоящая перед ним, ее критический пункт состоят не в осознании смысла ситуации, не в выявлении скрытого, но имеющегося смысла, а в его созидании, в смыслопорождении, смыслостроительстве.

Процессы этого рода и составляют то искомое измерение психологической реальности, для которого в теории деятельности нет соответствующей категории. Предлагая на это место понятие переживания

[5] Здесь необходим небольшой экскурс в область представлений о смысле. Это понятие в концепции А.Н. Леонтьева неоднозначно. Для наших целей важно различить три его значения, которые задаются тремя оппозициями: 1) смысл — значение; 2) смысл — эмоция; 3) наличие смысла (осмысленность) — отсутствие его (бессмысленность). Первая из них является производной от фундаментальной оппозиции *знания* и *отношения* [89; 123]: как значение — единица объективного знания о действительности, так смысл — единица субъективного (пристрастного) отношения к ней. Это первое значение понятия смысла абстрагируется от конкретной формы его существования в сознании. Второе противопоставление — смысли и эмоции — как раз и различает две основные формы этого существования. Эмоция — это непосредственное выражение отношения человека к тем или иным событиям и ситуациям, а смысл — это уже нечто опосредованное значениями и вообще знанием, познанием самого себя и своей жизни: смысл — это эмоция с-мыслью, эмоция, просветленная мыслью. Третья оппозиция (осмысленность — бессмысленность) имеет совсем другое происхождение. Ее истоком является понятие смыслообразующего мотива. Только когда деятельность субъекта и вообще ход событий развертываются в направлении реализации смыслообразующих мотивов, тогда ситуация является осмысленной, имеющей смысл. В противном случае она становится бессмысленной.

и переходя таким образом ко второй, «позитивной», фазе его введения, необходимо отвести возможные претензии на роль этой категории со стороны понятия смыслообразования. Последнее в том виде, в котором оно обращается в теории деятельности, часто употребляется применительно к процессу возникновения любого личностного смысла (а не применительно к возникновению *осмысленности),* т.е. безотносительно к выделению особых, смыслообразующих мотивов. Но главное даже не в этом: смыслообразование рассматривается как функция *мотива* [77; 78; 89], а когда мы говорим о смыслопорождении, то имеем в виду особую деятельность *субъекта*[6].

Специфика этой деятельности определяется в первую очередь особенностями жизненных ситуаций, ставящих субъекта перед необходимостью переживания. Мы будем называть такие ситуации *критическими.* Если бы требовалось одним словом определить характер критической ситуации, следовало бы сказать, что это ситуация невозможности. Невозможности чего? Невозможности жить, реализовывать *внутренние необходимости* своей жизни.

Борьба против этой невозможности за создание ситуации возможности реализации жизненных необходимостей и есть переживание. Переживание — это преодоление некоторого «разрыва» жизни, это некая восстановительная работа, как бы перпендикулярная линии реализации жизни. То, что процессы переживания противопоставляются реализации жизни, т.е. деятельности, не означает, что это какие-то мистические внежизненные процессы: по своему психофизиологическому составу — это те же процессы жизни и деятельности, но по своему психологическому смыслу и назначению — это процессы, направленные на самое жизнь, на обеспечение психологической возможности ее реализации. Таково предельно абстрактное понимание переживания на бытийном уровне описания, т.е. в отвлечении от сознания.

То, что на уровне бытия предстает как *возможность* реализации жизненных необходимостей, как

[6] В теории деятельности, кстати сказать, уже существует образец подхода к смыслообразованию как деятельности, реализованный на материале псевдоскопического зрения [116; 117].

возможность жизнеутверждения, то на уровне сознания, точнее одного, самого «низкого» его слоя «бытийного сознания»[7], предстает как *осмысленность жизни.* Осмысленность жизни есть общее имя (получаемое на уровне феноменологического описания) для целого ряда конкретных психологических состояний, непосредственно опознаваемых в сознании в соответствующем ряде переживаний* от удовольствия до чувства «оправданности существования», составляющего, по словам А. Н. Леонтьева, «смысл и счастье жизни» [89, с.221]. «Невозможность» также имеет свою позитивную феноменологию, имя которой — бессмысленность, а конкретные состояния — отчаяние, безнадежность, несбыточность, неизбежность и пр.

Поскольку жизнь может обладать различными видами *внутренних необходимостей,* естественно предположить, что реализуемости каждой из них соответствует свой тип состояний возможности, а нереализуемости — свой тип состояний невозможности. Каковы конкретно эти типы необходимостей и эти состояния, предрешить нельзя — это один из основных вопросов всего исследования. Можно только сказать, что в ситуации невозможности (бессмысленности) перед человеком в той или иной форме встает «задача на смысл» — не та задача на воплощение в значениях объективно наличного в индивидуальном бытии, но не ясного сознанию смысла, о которой только и идет речь в теории деятельности А. Н. Леонтьева[8], [11] а за-

---

[7] Идея о существовании такого слоя достаточно хорошо отработана в философской литературе, скажем, в понятии «дорефлексивного сознания». Эта идея в разных видах неоднократно использовалась и при построении психологических теорий. Не чужда она и теории деятельности, неявно реализуясь в понятии мотива и явно используясь группой авторов, попытавшихся поставить во главу угла теоретико-деятельностного подхода к личности понятие «смысловых образований» [15, с. 113-114; 16]. Современная психология не может уже, по словам В. П. Зинченко и М. К. Мамардашвили, игнорировать мысль о том, что «нечто в сознании обладает бытийными (и поддающимися объективному анализу) характеристиками по отношению к сознанию в смысле индивидуально-психологической реальности» [71, с. 279].

[8] Справедливости ради надо сказать, что А. Н. Леонтьев прекрасно понимал, что «задача на смысл» оборачивается для личности «задачей на соотношение мотивов» [89, с. 206], что она не заканчивается осознанием этих соотношений, а требует для своего решения особой *преобразующей работы* над своими

дача добывания осмысленности, поиска источников смысла, «разработки» этих источников, деятельного извлечения из них смысла и т.д. — словом, п р о и з в о д с т в а смысла.

Именно эта общая идея *производства смысла* позволяет говорить о переживании как о *продуктивном* процессе, как об особой *работе.* Хотя заранее можно предположить, что идея производства в разной мере и в разном виде приложима к различным типам переживания, она является для нас онтологически, гносеологически и методологически центральной. Онтологически потому, что продуктивность, а в пределе — творческий характер переживания, является, как мы увидим в дальнейшем, неотъемлемым свойством высших типов его. В гносеологическом плане потому, что согласно известному марксистскому положению именно высшие формы развития изучаемого объекта дают ключ к пониманию низших его форм. И наконец, в методологическом — потому, что в этой идее, как ни в какой другой, сконцентрирована сущность деятельностного подхода в психологии, методологическим образцом и ориентиром которого является марксово представление о производстве и его сущностном «превосходстве» над потреблением [89, с. 192—193].

Если на уровне бытия переживание — это восстановление возможности реализации внутренних необходимостей жизни, а на уровне сознания — обретение осмысленности, то в рамках отношения сознания к бытию работа переживания состоит в достижении смыслового соответствия сознания и бытия, что в отнесенности к бытию суть *обеспечение его смыслом,* а в отнесенности к сознанию — *смысловое принятие* им бытия.

Что касается соотнесения понятия переживания с понятием деятельности, то утверждение, что необходимость в переживании возникает в ситуациях, не разрешимых непосредственно предметно-практической деятельностью, каким бы совершенным отражением

мотивами («нужна особая внутренняя работа, чтобы решить такую задачу и, может быть, отторгнуть от себя то, что обнажилось» [там же]), однако перед нами только приподнимают полог, за которым открывается чудесная (иначе не скажешь) психологическая область, где не мотивы властвуют над человеком, а он сам становится хозяином, больше того — творцом своих мотивов.

она ни была обеспечена, как уже говорилось, нельзя понять так, что к переживанию вообще неприложима категория деятельности и что оно, следовательно, либо является вспомогательным функциональным механизмом внутри деятельности и отражения, либо по своей «природе» выпадает из теоретико-деятельностной картины психологической реальности. В действительности переживание дополняет эту картину, представляя собой наряду с внешней практической и познавательной деятельностями особый тип деятельностных процессов, специфицируемых в первую очередь своим продуктом — смыслом (осмысленностью)[9].

Переживание является именно деятельностью, т.е. самостоятельным процессом, соотносящим субъекта с миром и решающим его реальные жизненные проблемы, а не особой психической «функцией», стоящей в одном ряду с памятью, восприятием, мышлением, воображением или эмоциями. Эти «функции» вместе с внешними предметными действиями включаются в реализацию переживания точно так же, как и в реализацию всякой человеческой деятельности, но значение как интрапсихических, так и поведенческих процессов, участвующих в осуществлении переживания, может быть выяснено только исходя из общей задачи и направления переживания, из производимой им целостной работы по преобразованию психологического мира, которая одна способна в ситуации невозможности адекватной внешней деятельности разрешить ситуацию.

Обращаясь к вопросу о носителях, или реализаторах, переживания, остановимся в первую очередь на внешнем поведении. Внешние действия осуществляют работу переживания не прямо, достижением некоторых предметных результатов, а через изменения сознания субъекта и вообще его психологическо-

[9] Ср. с глубокой идеей В.К Вилюнаса, высказанной в отношении «биологического смысла»: «смысловые образования, хотя они также (как и «познавательные психологические образования». — *Ф. В.)* возникают в результате деятельности, однако ею самой по себе не порождаются и не представляют того продукта, который фиксирует ее предметное содержание» [44, с. 87-88]. «Смыслообразует не предметная деятельность...», — пишет он далее.

го мира. Это поведение иногда носит ритуально-символический характер, действуя в этом случае за счет подключения индивидуального сознания к организующим его движение особым символическим структурам, отработанным в культуре и сконцентрировавшим в себе опыт человеческого переживания типических событий и обстоятельств жизни.

Участие в работе переживания различных интрапсихических процессов можно наглядно объяснить, перефразировав «театральную» метафору З. Фрейда: в «спектаклях» переживания занята обычно вся труппа психических функций, но каждый раз одна из них может играть главную роль, беря на себя основную часть работы переживания, т.е. работы по разрешению неразрешимой ситуации. В этой роли часто выступают эмоциональные процессы (отвращение к «слишком зеленому» винограду устраняет противоречие между желанием его съесть и невозможностью это сделать [237]), однако в противовес той прочной ассоциации (а порой и отождествлению) между словами «эмоция» и «переживание», которая бытует в психологии, нужно специально подчеркнуть, что эмоция не обладает никакой прерогативой на исполнение главной роли в реализации переживания. Основным исполнителем может стать и восприятие (в разнообразных феноменах «перцептивной защиты» [37; 137; 138; 204 и др.]), и мышление (случаи «рационализации» своих побуждений, так называемая «интеллектуальная переработка» [130] травмирующих событий), и внимание («защитное переключение внимания на посторонние травмирующему событию моменты»[10] [121, с.349]), и другие психические «функции».

Итак, переживание как деятельность реализуется и внешними, и внутренними действиями. Это положе-

[10] В приводимой В. Е. Рожновым и М. Е. Бурно [121] иллюстрации из «Войны и мира» описывается реакция Пьера Безухова на смерть Каратаева, состоявшая в том, что он, услышав выстрел, означавший, что Каратаев убит, «в то же мгновенье вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление того, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать». «Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает липший пар, как только плотность его превышает известную норму».

ние чрезвычайно важно с методологической и мировоззренческой точки зрения. Традиционная психология в ее идеалистических вариантах замыкала переживание в узком мире индивидуальной субъективности, в то время как вульгарно-материалистические течения понимали переживание как эпифеномен, тем самым оставляя его за пределами научного изучения. Только материалистическая психология, основанная на марксистском учении о деятельной социальной сущности человека, способна преодолеть казавшуюся самоочевидной для традиционной психологии приуроченность переживаний исключительно ко внутренним, душевным процессам. Человеку удается пережить жизненный кризис часто не столько за счет специфической внутренней переработки травмирующих событий (хотя без нее и не обойтись), сколько с помощью активной творческой общественно-полезной деятельности, которая, реализуя, в качестве предметно-практической деятельности сознательную цель субъекта и производя общественно-значимый внешний продукт, одновременно выступает и как деятельность переживания, порождая и наращивая запас осмысленности индивидуальной жизни человека.

Резюмируем сказанное во Введении. Существуют особые жизненные ситуации, которые неразрешимы процессами предметно-практической и познавательной деятельности. Их решают процессы переживания. Переживание следует отличать от традиционного психологического понятия переживания*, означающего непосредственную данность психических содержаний сознанию. Переживание понимается нами как особая деятельность, особая работа по перестройке психологического мира, направленная на установление смыслового соответствия между сознанием и бытием, общей целью которой является повышение осмысленности жизни.

Таковы самые общие, предварительные положения о переживании с точки зрения психологической теории деятельности.

Глава I СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЕРЕЖИВАНИИ

В данной главе нам предстоит поставить перед теориями, исследующими проблему переживания, два основных вопроса. Первый из них связан с пониманием природы критических ситуаций, порождающих необходимость в переживании. Второй относится к представлениям о самих этих процессах.

§ 1. ПРОБЛЕМА КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Как уже отмечалось, критическая ситуация в самом общем плане должна быть определена как ситуация *невозможности,* т.е. такая ситуация, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних *необходимостей* своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и пр.).

Существуют четыре ключевых понятия, которыми в современной психологии описываются критические жизненные ситуации. Это понятия стресса, фрустрации, конфликта и кризиса. Несмотря на огромную литературу вопроса[1], теоретические представления о критических ситуациях развиты довольно слабо. Особенно это касается теорий стресса и кризи-

[1] По одному только стрессу и связанным с ним темам к 1979г. было опубликовано, согласно данным Международного института стресса, 150 000 работ [240, с. 11].

са, где многие авторы ограничиваются простым перечислением конкретных событий, в результате которых создаются стрессовые или кризисные ситуации, или пользуются для характеристики этих ситуаций такими общими схемами, как нарушение равновесия (психического, душевного, эмоционального), никак их теоретически не конкретизируя. Несмотря на то, что темы фрустрации и конфликта, каждая в отдельности, проработаны намного лучше, установить ясные отношения хотя бы между двумя этими понятиями не удается [185], не говоря уже о полном отсутствии попыток соотнести одновременно все четыре названных понятия, установить, не перекрещиваются ли они, каковы логические условия употребления каждого из них и т.д. Положение таково, что исследователи, которые изучают одну из этих тем, любую критическую ситуацию подводят под излюбленную категорию, так что для психоаналитика всякая такая ситуация является ситуацией конфликта, для последователей Г. Селье — ситуацией стресса и т. д., а авторы, чьи интересы специально не связаны с этой проблематикой, при выборе понятия стресса, конфликта, фрустрации или кризиса исходят в основном из интуитивных или стилистических соображений. Все это приводит к большой терминологической путанице.

Ввиду такого положения первоочередной теоретической задачей, которая и будет решаться на последующих страницах, является выделение за каждой из понятийных фиксаций критической ситуации специфического категориального поля, задающего сферу ее приложения. Решая эту задачу, мы будем исходить из общего представления, согласно которому тип критической ситуации определяется характером состояния «невозможности», в котором оказалась жизнедеятельность субъекта. «Невозможность» же эта определяется, в свою очередь, тем, какая *жизненная необходимость,* оказывается парализованной в результате неспособности имеющихся у субъекта *типов активности* справиться с наличными *внешними* и *внутренними* условиями жизнедеятельности. Эти внешние и внутренние условия, тип активности и специфическая жизненная необходимость и являются теми главными пунктами, по которым мы будем характеризовать основные типы критических ситуаций и отличать их друг от друга.

СТРЕСС

Непроясненность категориальных оснований и ограничений более всего сказалась на понятии стресса. Означая сначала неспецифический ответ организма на воздействие вредных агентов, проявляющийся в симптомах общего адаптационного синдрома [132; 133], это понятие относят теперь ко всему, что угодно, так что в критических работах по стрессу сложилась даже своеобразная жанровая традиция начинать обзор исследований с перечисления чудом уживающихся под шапкой этого понятия таких совершенно разнородных явлений, как реакция на холодовые воздействия и на услышанную в свой адрес критику, гипервентиляция легких в условиях форсированного дыхания и радость успеха, усталость и унижение [43; 81; 106; 164 и др.]. По замечанию Р. Люфта, «многие считают стрессом все, что происходит с человеком, если он не лежит в своей кровати» [163, с. 317], а Г. Селье полагает, что «даже в состоянии полного расслабления спящий человек испытывает некоторый стресс» [133, с. 30], и приравнивает отсутствие стресса к смерти [там же]. Если к этому добавить, что стрессовые реакции присущи, по Селье, всему живому, в том числе и растениям, то это понятие вместе со своими нехитрыми производными (стрессор, микро- и макрострес, хороший и плохой стресс) становится центром чуть ли не космологической по своим притязаниям системы, вдруг обретая достоинство не больше и не меньше, чем «ведущего стимула жизнеутверждения, созидания, развития» [147, с. 7], «основы всех сторон жизнедеятельности человека» [там же, с. 14] или выступая в качестве фундамента для доморощенных философско-этических построений [133].

Подобные превращения конкретно-научного понятия в универсальный принцип так хорошо знакомы из истории психологии, так подробно описаны Л. С. Выготским [47] закономерности этого процесса, что состояние, в котором сейчас находится анализируемое понятие, наверное, можно было бы предсказать в самом начале «стрессового бума»: «Это открытие, раздувшееся до мировоззрения, как лягушка, раздувшаяся в вола, этот мещанин во дворянстве, попадает в самую опасную... стадию своего развития:

оно легко лопается, как мыльный пузырь[2]; во всяком случае оно вступает в стадию борьбы и отрицания, которые оно встречает теперь со всех сторон» [47, с. 304].

И в самом деле, в современных психологических работах по стрессу предпринимаются настойчивые попытки так или иначе ограничить притязания этого понятия, подчинив его традиционной психологической проблематике и терминологии. Р. Лазарус с этой целью вводит представление о *психологическом* стрессе, который, в отличие от физиологической высокостереотипизированной стрессовой реакции на вредность, является реакцией, опосредованной оценкой угрозы и защитными процессами [81; 214]. Дж. Эверилл вслед за С. Сэллсом [239] считает сущностью стрессовой ситуации утрату контроля, т.е. отсутствие адекватной данной ситуации реакции при значимости для индивида последствий отказа от реагирования [172, с. 286]. П. Фресс предлагает называть стрессом особый вид эмоциогенных ситуаций, а именно «употреблять этот термин применительно к ситуациям повторяющимся, или хроническим, в которых могут появиться нарушения адаптации» [158, с. 145]. Ю. С. Савенко определяет психический стресс как «состояние, в котором личность оказывается в условиях, препятствующих ее самоактуализации» [130, с. 97].

Этот список можно было бы продолжить, но главная тенденция в освоении психологией понятия стресса видна и из этих примеров. Она состоит в отрицании *неспецифичности* ситуаций, порождающих стресс. Не любое требование среды вызывает стресс, а лишь то, которое оценивается как угрожающее [81; 214], которое нарушает адаптацию [158], контроль [172], препятствует самоактуализации [130]. «Вряд ли кто-либо думает, — апеллирует к здравому смыслу Р. С. Разумов, — что любое мышечное напряжение должно явиться для организма стрессорным агентом. Спокойную прогулку... никто не воспринимает как стрессорную ситуацию» [118, с. 16].

[2] Этим образом Л.С. Выготский передает переходящее всякие пределы возрастание объема понятия, но, конечно, не исчезновение его содержания и не упразднение его из научного обихода.

Однако не кто иной, как сам отец учения о стрессе Ганс Селье, даже состояние сна, не говоря уже о прогулке, считает не лишенным стресса. Стресс, по Г. Селье, это «неспецифический ответ организма на любое (подчеркнем: любое. — *Ф.В.)* предъявленное ему требование» [133, с. 27].

Реакцию психологов можно понять: действительно, как примирить эту формулировку с неустранимым из понятия стресса представлением, что стресс — это нечто необычное, из ряда вон выходящее, превышающее пределы индивидуальной нормы функционирования? Как совместить в одной мысли «любое» с «экстремальным»? Казалось бы, это невозможно, и психологи (да и физиологи [164, с. 12—16)] отбрасывают «любое», т.е. идею неспецифичности стресса, противопоставляя ей идею специфичности. Но устранить идею неспецифичности стресса (ситуаций и реакций) — это значит убить в этом понятии то, ради чего оно создавалось, его основной смысл. Пафос этого понятия не в отрицании специфического характера стимулов и ответов организма на них [133, с. 27—28; 240, с. 12], а в утверждении того, что любой стимул наряду со своим специфическим действием предъявляет организму неспецифические требования, ответом на которые является неспецифическая реакция во внутренней среде организма.

Из сказанного следует, что если уж психология берет на вооружение понятие «стресс», то ее задача состоит в том, чтобы, отказавшись от неоправданного расширения объема этого понятия, тем не менее сохранить основное его содержание — идею неспецифичности стресса. Чтобы решить эту задачу, нужно эксплицировать те мыслимые психологические условия, при которых эта идея точно отражает задаваемый ими срез психологической реальности. Мы говорим о точности вот почему. Спору нет, нарушения самоактуализации, контроля и т.д. вызывают стресс, это достаточные условия его. Но дело состоит в том, чтобы обнаружить минимально необходимые условия, точнее, специфические условия порождения неспецифического образования — стресса.

Любое требование среды может вызвать критическую, экстремальную ситуацию только у существа, которое не способно справиться ни с какими требо-

ваниями вообще и в то же время внутренней необходимостью жизни которого является неотложное (здесь-и-теперь) удовлетворение всякой потребности, иначе говоря, у существа, нормальный жизненный мир которого «легок» и «прост», т.е. таков, что удовлетворение любой потребности происходит прямо и непосредственно, не встречая препятствий ни со стороны внешних сил, ни со стороны других потребностей и, стало быть, не требуя от индивида никакой активности.

Полную реализацию такого гипотетического существования, когда блага даны прямо и непосредственно и вся жизнь сведена к непосредственной витальности, можно усмотреть, да и то с известными оговорками, только в пребывании плода в чреве матери, однако частично оно присуще всякой жизни, проявляясь в виде установки на здесь-и-теперь удовлетворение, или в том, что З. Фрейд называл «принципом удовольствия».

Понятно, что реализация такой установки сплошь и рядом прорывается самыми обычными, любыми требованиями реальности; и если такой прорыв квалифицировать как особую критическую ситуацию — стресс, мы приходим к такому понятию стресса, в котором очевидным образом удается совместить идею «экстремальности» и идею «неспецифичности». При описанных содержательно-логических условиях вполне ясно, как можно считать стресс критическим событием и в то же время рассматривать его как перманентное жизненное состояние.

Итак, категориальное поле, которое стоит за понятием стресса, можно обозначить термином «витальность», понимая под ним неустранимое измерение бытия, «законом» которого является установка на здесь-и-теперь удовлетворение.

ФРУСТРАЦИЯ

Необходимыми признаками фрустрирующей ситуации согласно большинству определений является наличие сильной мотивированности достичь цель (удовлетворить потребность) и преграды, препятствующей этому достижению [107; 199; 208; 210; 215; 236 и др.].

В соответствии с этим фрустрирующие ситуации классифицируются по характеру фрустрируемых мотивов и по характеру «барьеров». К классификациям первого рода относится, например, проводимое А. Маслоу [223] различение базовых, «врожденных» психологических потребностей (в безопасности, уважении и любви), фрустрация которых носит патогенный характер, и «приобретенных потребностей», фрустрация которых не вызывает психических нарушений.

Барьеры, преграждающие путь индивида к цели, могут быть физические (например, стены тюрьмы), биологические (болезнь, старение), психологические (страх, интеллектуальная недостаточность) и социокультурные (нормы, правила, запреты) [199; 210]. Упомянем также деление барьеров на внешние и внутренние, использованное Т. Дембо [183] для описания своих экспериментов: внутренними барьерами она называла те, которые препятствуют достижению цели, а внешними — те, которые не дают испытуемым выйти из ситуации. К. Левин, анализируя внешние в этом смысле барьеры, применяемые взрослыми для управления поведением ребенка, различает «физически-вещественные», «социологические» («орудия власти, которыми обладает взрослый в силу своей социальной позиции» [215, с. 126]) и «идеологические» барьеры (вид социальных, отличающийся включением «целей и ценностей, признаваемых самим ребенком» [там же, с. 127]. Иллюстрация: «Помни, ты же девочка!»).

Сочетание сильной мотивированности к достижению определенной цели и препятствий на пути к ней, несомненно, является необходимым условием фрустрации, однако порой мы преодолеваем значительные трудности, не впадая при этом в состояние фрустрации. Значит, должен быть поставлен вопрос о достаточных условиях фрустрации, или, что то же, вопрос о переходе ситуации затрудненности деятельности в ситуацию фрустрации [ср.: 83]. Ответ на него естественно искать в характеристиках состояния фрустрированности, ведь именно его наличие отличает ситуацию фрустрации от ситуации затрудненности. Однако в литературе по проблеме фрустрации мы не находим анализа психологического смысла этого состояния,

большинство авторов ограничиваются описательными констатациями, что человек, будучи фрустрирован, испытывает беспокойство и напряжение [199], чувства безразличия, апатии и утраты интереса [236], вину и тревогу [210], ярость и враждебность [199], зависть и ревность [192] и т.д. Сами по себе эти эмоции не проясняют нашего вопроса, а кроме них у нас остается единственный источник информации — поведенческие «следствия» фрустрации, или фрустрационное поведение. Может быть, особенности этого поведения могут пролить свет на то, что происходит при переходе от ситуации затрудненности к ситуации фрустрации?

Обычно выделяют следующие виды фрустрационного поведения: а) *двигательное возбуждение* — бесцельные и неупорядоченные реакции; б) *апатия* (в известном исследовании Р. Баркера, Т. Дембо и К. Левина [173] один из детей в фрустрирующей ситуация лег на пол и смотрел в потолок); в) *агрессия* и *деструкция;* г) *стереотипия* — тенденция к слепому повторению фиксированного поведения; д) *регрессия,* которая понимается либо «как обращение к поведенческим моделям, доминировавшим в более ранние периоды жизни индивида» [236, с. 246—247], либо как «примитивизация» поведения (измерявшаяся в эксперименте Р. Баркера, Т. Дембо и К. Левина снижением «конструктивности» поведения) или падение «качества исполнения» [180].

Таковы виды фрустрационного поведения. Каковы же его наиболее существенные, центральные характеристики? Монография Н. Майера [220] отвечает на этот вопрос уже своим названием — «Фрустрация: поведение без цели». В другой работе Н. Майер [221] разъяснял, что базовое утверждение его теории состоит не в том, что «фрустрированный человек не имеет цели», а «что поведение фрустрированного человека не имеет цели, т.е. что оно утрачивает целевую ориентацию» [221, с. 370—371]. Майер иллюстрирует свой тезис примером, в котором двое людей, спешащих купить билет на поезд, затевают в очереди ссору, затем драку и оба в итоге опаздывают. Это поведение не содержит в себе цели добывания билета, поэтому, по определению Майера, оно является не адаптивным (= удовлетворяющим потребность),

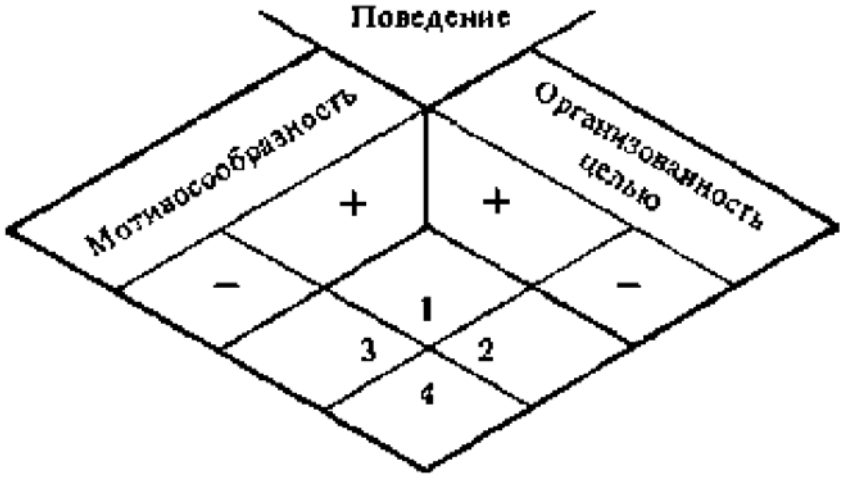
а «фрустрационно спровоцированным поведением». Новая цель не замещает здесь старой [там же].

Для уточнения позиции этого автора нужно оттенить ее другими мнениями. Так, Э. Фромм полагает, что фрустрационное поведение (в частности, агрессия) «представляет собой попытку, хотя часто и бесполезную, достичь фрустрированной цели» [192, с. 20]. К. Гольдштейн, наоборот, утверждает, что поведение, этого рода не подчинено не только фрустрированной цели, но вообще никакой цели, оно дезорганизовано и беспорядочно. Он называет это поведение «катастрофическим» [194].

На таком фоне точка зрения Н. Майера может быть сформулирована, следующим образом: необходимым признаком фрустрационного поведения является утрата ориентации на исходную, фрустрированную цель (в противоположность мнению Э. Фромма), этот же признак является и достаточным (в противоположность мнению К. Гольдштейна) — фрустрационное поведение не обязательно лишено всякой целенаправленности, внутри себя оно может содержать некоторую цель (скажем, побольнее уязвить соперника в фрустрационно спровоцированной ссоре). Важно то, что достижение этой цели лишено смысла относительно исходной цели или мотива данной ситуации.

Разногласия этих авторов помогают нам выделить два важнейших параметра, по которым должно характеризоваться поведение во фрустрирующей ситуации. Первый из них, который можно назвать «мотивосообразностью», заключается в наличии осмысленной перспективной связи поведения с мотивом, конституирующим психологическую ситуацию. Второй параметр — организованность поведения какой бы то ни было целью, независимо от того, ведет ли достижение этой цели к реализации указанного мотива. Предполагая, что тот и другой параметры поведения могут в каждом отдельном случае иметь положительное, либо отрицательное значение, т.е. что текущее поведение может быть либо упорядочено и организовано целью, либо дезорганизовано, и одновременно оно может быть либо сообразным мотиву, либо не быть таковым, получим следующую типологию возможных «состояний» поведения.

Типология «состояний» поведения



В затруднительной для субъекта ситуации мы можем наблюдать формы поведения, соответствующие каждому из этих четырех типов.

Поведение первого типа, мотивосообразное и подчиненное организующей цели, заведомо не является фрустрационным. Причем здесь важны именно эти внутренние его характеристики, ибо сам по себе внешний вид поведения (будь то наблюдаемое безразличие субъекта к только что манившей его цели, деструктивные действия или агрессия) не может однозначно свидетельствовать о наличии у субъекта состояния фрустрации: ведь мы можем иметь дело с произвольным использованием той же агрессии (или любых других, обычно автоматически относящихся к фрустрационному поведению актов), использованием, сопровождающимся, как правило, самоэкзальтацией с разыгрыванием соответствующего эмоционального состояния (ярости) и исходящим из *сознательного* расчета таким путем достичь цели.

Такое псевдофрустрационное поведение может перейти в форму поведения второго типа: умышленно «закатив истерику» в надежде добиться своего, человек теряет контроль над своим поведением, он уже не волен остановиться, вообще регулировать свои действия. Произвольность, т.е. контроль со стороны воли, утрачен, однако это не значит, что полностью утрачен контроль со стороны сознания. Поскольку это поведение более не организуется целью, оно теряет психологический статус целенаправленного *действия,* но тем не менее сохраняет еще статус *средства* реализации исходного мотива ситуации, иначе говоря, в сознании сохраняется смысловая связь между по-

ведением и мотивом, надежда на разрешение ситуации. Хорошей иллюстрацией этого типа поведения могут служить рентные истерические реакции, которые образовались в результате «добровольного усиления рефлексов» [79, с. 72], но впоследствии стали непроизвольными. При этом, как показывают, например, наблюдения военных врачей, солдаты, страдавшие истерическими гиперкинезами, хорошо осознавали связь усиленного дрожания с возможностью избежать возвращения на поле боя.

Для поведения третьего тира характерна как раз утрата связи, через которую от мотива передается действию смысл. Человек лишается сознательного контроля над связью своего поведения с исходным мотивом: хотя отдельные действия его остаются еще целенаправленными, он действует уже не «ради чего-то», а «вследствие чего-то». Таково упоминавшееся поведение человека, целенаправленно дерущегося у кассы со своим конкурентом в то время, как поезд отходит от станции. «Мотивация здесь, — говорит Н. Майер, — отделяется от причинения как объясняющее понятие» [221, с. 371; ср.: 142, с. 101].

Поведение четвертого типа, пользуясь термином К. Гольдштейна, можно назвать «катастрофическим». Это поведение не контролируется ни волей, ни сознанием субъекта, оно и дезорганизовано, и не стоит в содержательно-смысловой связи с мотивом ситуации. Последнее, важно заметить, не означает, что прерваны и другие возможные виды связей между мотивом и поведением (в первую очередь «энергетические»), поскольку, будь это так, не было бы никаких оснований рассматривать это поведение в отношении фрустрированного мотива и квалифицировать как «мотивонесообразное». Предположение, что психологическая ситуация продолжает определяться фрустрированным мотивом, является необходимым условием рассмотрения поведения как следствия фрустрации.

Возвращаясь теперь к поставленному выше вопросу о различении ситуации затрудненности и ситуации фрустрации, можно сказать, что первой из них соответствует поведение первого типа нашей типологии, а второй — остальных трех типов. С этой точки зрения видна неадекватность линейных представлений о фрустрационной толерантности, с помощью ко-

торых обычно описывается переход ситуации затрудненности в ситуацию фрустрации. На деле он осуществляется в двух измерениях — по линии утраты контроля со стороны воли, т.е. дезорганизации поведения и/или по линии утраты контроля со стороны сознания, т.е. утраты «мотивосообразности» поведения, что на уровне внутренних состояний выражается соответственно в потере терпения и надежды. Мы ограничимся пока этой формулой, ниже нам еще представится случай остановиться на отношениях между этими двумя феноменами.

Определение категориального поля понятия фрустрации не составляет труда. Вполне очевидно, что оно задается категорией деятельности. Это поле может быть изображено как жизненный мир, главной характеристикой условий существования в котором является трудность, а внутренней необходимостью этого существования — реализация мотива. Деятельное преодоление трудностей на пути к «мотивосообразным» целям — «норма» такой жизни, а специфическая для него критическая ситуация возникает, когда трудность становится непреодолимой [83, с. 119, 120], т.е. переходит в невозможность.

КОНФЛИКТ

Задача определения психологического понятия конфликта довольно сложна. Если задаться целью найти дефиницию, которая не противоречила бы ни одному из имеющихся взглядов на конфликт, она звучала бы психологически абсолютно бессодержательно: конфликт — это столкновение чего-то с чем-то. Два основных вопроса теории конфликта — что именно сталкивается в нем и *каков характер* этого столкновения — решаются совершенно по-разному у разных авторов.

Решение первого из этих вопросов тесно связано с общей методологической ориентацией исследователя. Приверженцы психодинамических концептуальных схем определяют конфликт как одновременную актуализацию двух или более мотивов (побуждений) [205; 210]. Бихевиористски ориентированные исследователи утверждают, что о конфликте можно говорить только тогда, когда имеются альтернативные возможности реагирования [160; 185]. Наконец, с точки зре-

ния когнитивной психологии в конфликте сталкиваются идеи, желания, цели, ценности — словом, феномены сознания [146; 181; 187]. Эти три парадигмы рассмотрения конфликта сливаются у отдельных авторов в компромиссные «синтагматические» конструкции (см., например, [236]), и если конкретные воплощения таких сочетаний чаще всего оказываются эклектическими, то сама идея подобного синтеза выглядит очень перспективной: в самом деле, ведь за тремя названными парадигмами легко угадываются три фундаментальные для развития современной психологии категории — мотив, действие и образ [168], которые в идеале должны органически сочетаться в каждой конкретной теоретической конструкции.

Не менее важным является и второй вопрос — о характере отношений конфликтующих сторон. Он распадается на три подвопроса, первый из которых касается сравнительной интенсивности противостоящих в конфликте сил и разрешается чаще всего утверждением о приблизительном равенстве этих сил [215; 219; 226 и др.]. Второй подвопрос связан с определением ориентированности друг относительно друга противоборствующих тенденций. Большинство авторов даже не обсуждает альтернатив обычной трактовке конфликтующих побуждений как противоположно направленных. К. Хорни проблематизировала это представление, высказав интересную идею, что только невротический конфликт (т.е. такой, который, по ее определению, отличается несовместимостью конфликтующих сторон, навязчивым и бессознательным характером побуждений) может рассматриваться как результат столкновения противоположно направленных сил. «Угол» между направлениями побуждений в нормальном, не невротическом конфликте меньше 180°, и потому при известных условиях может быть найдено поведение, в большей или меньшей мере удовлетворяющее обоим побуждениям [205].

Третий подвопрос касается содержания отношений между конфликтующими тенденциями. Здесь, по нашему мнению, следует различать два основных вида конфликтов — в одном случае тенденции внутренне противоположны, т.е. противоречат друг другу по содержанию, в другом — они несовместимы не принципиально, а лишь по условиям места и времени.

Для выяснения категориального основания понятия конфликта следует вспомнить, что онтогенетически конфликт — достаточно позднее образование [232]. Р. Спиц [246] полагает, что действительный интрапсихический конфликт возникает только с появлением «идеационных» понятий. К. Хорни [205] в качестве необходимых условий конфликта называет осознание своих чувств и наличие внутренней системы ценностей, а Д. Миллер и Г. Свэнсон — «способность чувствовать себя виновным за те или иные импульсы» [226, с. 14]. Все это доказывает, что конфликт возможен только при наличии у индивида сложного внутреннего мира и актуализации этой сложности.

Здесь проходит теоретическая граница между ситуациями фрустрации и конфликта. Ситуация фрустрации, как мы видели, может создаваться не только материальными преградами, но и преградами идеальными, например, запретом на осуществление некоторой деятельности. Эти преграды, и запрет в частности, когда они выступают для сознания субъекта как нечто самоочевидное и, так сказать, не обсуждаемое, являются по существу психологически внешними барьерами и порождают ситуацию фрустрации, а не конфликта, несмотря на то, что при этом сталкиваются две, казалось бы, внутренние силы. Запрет может перестать быть самоочевидным, стать внутренне проблематичным, и тогда ситуация фрустрации преобразуется в конфликтную ситуацию.

Так же, как трудности внешнего мира противостоит деятельность, так сложности внутреннего мира, т.е. перекрещенности жизненных отношений субъекта, противостоит активность *сознания. Внутренняя необходимость,* или устремленность активности сознания, состоит в достижении согласованности и непротиворечивости внутреннего мира. Сознание призвано соизмерять мотивы, выбирать между ними, находить компромиссные решения и т.д., словом, преодолевать сложность. Критической ситуацией здесь является такая, когда субъективно невозможно ни выйти из ситуации конфликта, ни разрешить ее, найдя компромисс между противоречащими побуждениями или пожертвовав одним из них.

Подобно тому как выше мы различали ситуацию затруднения деятельности и невозможности ее реали-

зации, следует различать ситуацию осложнения и критическую конфликтную ситуацию, наступающую, когда сознание капитулирует перед субъективно неразрешимым противоречием мотивов.

КРИЗИС

Хотя проблематика кризиса индивидуальной жизни всегда была в поле внимания гуманитарного мышления, в том числе и психологического (см., например, [62]), в качестве самостоятельной дисциплины, развиваемой в основном в рамках превентивной психиатрии, теория кризисов появилась на психологическом горизонте сравнительно недавно. Ее начало принято вести от замечательной статьи Э. Линдеманна [217], посвященной анализу острого горя.

«Исторически на теорию кризисов повлияли в основном четыре интеллектуальных движения: теория эволюции и ее приложения к проблемам общей и индивидуальной адаптации; теория достижения и роста человеческой мотивации; подход к человеческому развитию с точки зрения жизненных циклов и интерес к совладанию с экстремальными стрессами...» [228, с. 7]. Среди идейных истоков теории кризисов называют также психоанализ (и в первую очередь такие его понятия, как психическое равновесие и психологическая защита), некоторые идеи К. Роджерса и теорию ролей [206, с. 815].

Отличительные черты теории кризисов, согласно Дж. Якобсону, состоят в следующем:

– она относится главным образом к индивиду, хотя некоторые ее понятия используются применительно к семье, малым и большим группам; «теория кризисов... рассматривает человека в его собственной экологической перспективе, в его естественном человеческом окружении» [206, с. 816];

– теория кризисов подчеркивает не только возможные патологические следствия кризиса, но и возможности роста и развития личности.

Что касается конкретных теоретических положений этой дисциплины, то они в основном воспроизводят то, что нам уже известно из теорий других типов критических ситуаций. Среди эмпирических событий, которые могут привести к кризису, различные авторы

выделяют такие, как смерть близкого человека, тяжелое заболевание, отделение от родителей, семьи, друзей, изменение внешности, смена социальной обстановки, женитьба, резкие изменения социального статуса и т.д. [135; 178; 182; 195; 202; 217 и др.]. Теоретически жизненные события квалифицируются как ведущие к кризису, если они «создают потенциальную или актуальную угрозу удовлетворению фундаментальных потребностей...» [206, с. 816] и при этом ставят перед индивидом проблему, «от которой он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным способом» [178, с. 525].

Дж. Каплан [178] описал четыре последовательные стадии кризиса: 1) первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы решения проблем; 2) дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы оказываются безрезультатными; 3) еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации внешних и внутренних источников; 4) если все оказывается тщетным, наступает четвертая стадия, характеризуемая повышением тревоги и депрессии, чувствами беспомощности и безнадежности, дезорганизацией личности. Кризис может кончиться на любой стадии, если опасность исчезает или обнаруживается решение.

Своей относительной самостоятельностью концепция кризисов обязана не столько собственным теоретическим особенностям, сколько тому, что она является составной частью интенсивно развивающихся во многих странах практики краткосрочной и доступной широким слоям населения (в отличие от дорогостоящего психоанализа) психолого-психиатрической помощи человеку, оказавшемуся в критической ситуации. Эта концепция неотделима от службы психического здоровья, кризисно-превентивных программ и т.п., что объясняет как ее очевидные достоинства — непосредственные взаимообмены с практикой, клиническую конкретность понятий, так и не менее очевидные недостатки — эклектичность, неразработанность собственной системы категорий и непроясненность связи используемых понятий с академическими психологическими представлениями.

Поэтому о психологической *теории* кризисов в собственном смысле слова говорить еще рано. Однако

мы берем на себя смелость утверждать, что системообразующей категорией этой будущей концепции (если ей суждено состояться) должна стать категория индивидуальной жизни, понимаемой как развертывающееся целое, как жизненный путь личности. Собственно говоря, кризис — это кризис *жизни,* критический момент и поворотный пункт жизненного пути.

Внутренней необходимостью жизни личности является реализация своего пути, своего жизненного замысла. Психологическим «органом», проводящим замысел сквозь неизбежные трудности и сложности мира, является *воля.* Воля — это орудие преодоления «умноженных» друг на друга сил трудности и сложности. Когда перед лицом событий, охватывающих важнейшие жизненные отношения человека, воля оказывается бессильной (не в данный изолированный момент, а в принципе, в перспективе реализации жизненного замысла), возникает специфическая для этой плоскости жизнедеятельности критическая ситуация — кризис.

Как и в случаях фрустрации и конфликта, можно выделить два рода кризисных ситуаций, различающихся по степени оставляемой ими возможности реализации внутренней необходимости жизни. Кризис первого рода может серьезно затруднять и осложнять реализацию жизненного замысла, однако при нем все еще сохраняется возможность восстановления прерванного кризисом хода жизни. Это испытание, из которого человек может выйти сохранившим в существенном свой жизненный замысел и удостоверившим свою самотождественность. Ситуация второго рода, собственно кризис, делает реализацию жизненного замысла невозможной. Результат переживания этой невозможности — метаморфоза личности, перерождение ее, принятие нового замысла жизни, новых ценностей, новой жизненной стратегии, нового образа-Я.

* *
*

Итак, каждому из понятий, фиксирующих идею критической ситуации, соответствует особое категориальное поле, задающее нормы функционирования этого понятия, которые необходимо учитывать для

его критического употребления. Такое категориальное поле в плане онтологии отражает особое измерение жизнедеятельности человека, обладающее собственными закономерностями и характеризуемое присущими ему условиями жизнедеятельности, типом активности и специфической внутренней необходимостью. Сведем все эти характеристики в табл. 1.

Таблица 1

Типология критических ситуаций

Онтологическое поле	Тип активности	Внутренняя необходимость	Нормальные условия	Тип критической ситуации
«Витальность»	Жизнедеятельность организма	Здесь-и теперь удовлетворение	Непосредственная данность жизненных благ	Стресс
Отдельное жизненное отношение	Деятельность	Реализация мотива	Трудность	Фрустрация
Внутренний мир	Сознание	Внутренняя согласованность	Сложность	Конфликт
Жизнь как целое	Воля	Реализация жизненного замысла	Трудность и сложность	Кризис

Каково значение этих различений для анализа критических ситуаций и для теории переживания вообще? Данная типология дает возможность более дифференцированно описывать экстремальные жизненные ситуации.

Разумеется, конкретное событие может затронуть сразу все «измерения» жизни, вызвав одновременно и стресс, и фрустрацию, и конфликт, и кризис, но именно эта эмпирическая интерференция разных критических ситуаций и создает необходимость их строгого различения.

Конкретная критическая ситуация не застывшее образование, она имеет сложную внутреннюю дина-

мику, в которой различные типы ситуации невозможности взаимовлияют друг на друга через внутренние состояния, внешнее поведение и его объективные следствия. Скажем, затруднения при попытке достичь некоторой цели в силу продолжительного неудовлетворения потребности могут вызвать нарастание стресса, которое, в свою очередь, отрицательно скажется на осуществляемой деятельности и приведет к фрустрации; далее агрессивные побуждения или реакции, порожденные фрустрацией, могут вступить в конфликт с моральными установками субъекта, конфликт вновь вызовет увеличение стресса и т. д. Основная проблематичность критической ситуации может при этом смещаться из одного «измерения» в другое.

Кроме того, с момента возникновения критической ситуации начинается психологическая борьба с нею процессов переживания, и общая картина динамики критической ситуации еще более осложняется этими процессами, которые могут, оказавшись выгодными в одном измерении, только ухудшить положение в другом. Впрочем, это уже тема следующего раздела.

Остается подчеркнуть практическую важность установленных понятийных различений. Они способствуют более точному описанию характера критической ситуации, в которой оказался человек, а от этого во многом зависит правильный выбор стратегии психологической помощи ему.

§ 2. ПРОЦЕСС ПЕРЕЖИВАНИЯ

Если в предыдущем параграфе предметом нашего обсуждения была критическая ситуация, т. е. то, что предшествует переживанию, то теперь нам предстоит обратиться к обзору представлений о «будущем» и «настоящем» этого процесса. Сначала мы рассмотрим будущее-заданность, т. е. цели и мотивы переживания, а затем будущее-данность, т. е. его результаты. Следующий раздел посвящен «настоящему» переживания, тому, как рассматривается в психологической литературе само осуществление, техника, или «инженерия» [130] переживания. Последний из вопросов данного параграфа — проблема классификации переживаний.

ЦЕЛЕВАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Хотя переживание, в каком бы виде оно ни представало в различных концепциях, — в виде ли психологической защиты, компенсации или совладания, редко рассматривается как процесс, направляемый осознанной целью, оно считается всеми авторами процессом, в том или ином виде подчиняющимся целевой детерминации. Анализ литературы показывает, что целевые детерминанты, приписываемые процессам переживания, совпадают с основными «внутренними необходимостями» жизнедеятельности, которые были обнаружены нами при обсуждении проблемы критической ситуации:

1. Здесь-и-теперь удовлетворение.
2. Реализация мотива (удовлетворение потребности).
3. Упорядочение внутреннего мира.
4. Самоактуализация.

Разумеется, все эти «внутренние необходимости» выступают в психологической литературе под разными именами, но, как правило, постулируемая в той или иной концепции цель процесса переживания достаточно очевидным образом относится к одной из перечисленных «необходимостей». Например, за такими целями защитных механизмов, как «избегание страдания» [189], «устранение неприятного состояния» [208], отрицание «болезненных элементов опыта» [195], безо всякого труда угадывается одна и та же гедонистическая устремленность к здесь-и-теперь удовлетворению.

Для классификации и анализа существующих взглядов на целевую детерминацию переживания полезно ввести представление, согласно которому этот процесс в общем случае подчиняется сразу нескольким из четырех названных детерминант, одна из которых выступает в качестве его конечной цели, или мотива, а другие — в качестве непосредственных или промежуточных целей. Если общую целевую формулу переживания изобразить как отношение непосредственных (и промежуточных) целей к конечной, мы получим довольно большое число комбинаторных возможностей. Рассмотрим те из них, которые наи-

более отчетливо представлены в литературе по проблеме переживания.

Для 3. Фрейда доминирующим вариантом понимания психологической защиты был тот, который согласно предложенной схеме может быть обозначен как 3/1. Что «знаменателем» целевой формулы психологической защиты, т.е. конечной целью защитных процессов, 3. Фрейд считал «принцип удовольствия», следует, например, из того, что прототипом всех специальных способов защиты является вытеснение [153], а «мотив и цель всякого вытеснения составляет ни что иное, как избегание неудовольствия» [190, с. 153]. Это следует также из того, что мотивы, стоящие за защитными процессами, Фрейд считал следствиями когнитивного (идеационного) и эмоционального инфантилизма, а принцип удовольствия является для инфантилизма определяющим. Что касается «числителя» формулы, или непосредственных целей защитных процессов, то они, по 3. Фрейду, чаще всего состоят в достижении согласованности внутреннего мира. Вытеснение — это средство избавиться от возникшей во внутренней (идеационной) жизни несогласованности, т. е. либо несовместимости между Я и некоторым переживанием*, идеей или чувством, как считал 3. Фрейд в ранний период творчества [189], либо противоречия между сознательным и бессознательным, как он считал позже, либо противоречия между Оно, Я, и Сверх-Я, как оформилась эта идея к 1923 г., моменту написания «Я и Оно» [156][3].

Предложенная в «Я и Оно» схема явилась основой дальнейшей разработки представлений о психологической защите в книге А. Фрейд «Я и механизмы защиты». Я защищается против инстинктов и против аффектов. Мотивы защиты против аффектов определяются мотивами защит против инстинктов, ибо аффект является одним из представителей инстинктив-

[3] Описанный вариант целевой детерминации защиты не единственный у Фрейда, но главный. Нужно, впрочем, оговориться, что не меньшее значение для него имеет представление, в котором центральная функция психологической защиты рассматривается в отношении к неврозу: в приложении к работе «Сдерживание, симптомы и тревога» Фрейд определяет защиту «как общее обозначение для всех приемов, которыми Я пользуется в ситуации конфликтов, способных привести к неврозу...» [190, с. 163].

ного процесса. Однако, «если Я не имеет ничего против того или иного инстинкта и не отвергает соответствующий аффект на основании принадлежности его к этому инстинкту, то его отношение к данному аффекту определяется полностью принципом удовольствия: Я принимает приятные аффекты и защищает себя против болезненных» [188, с. 66]. Этот вариант переживания в принятых нами обозначениях может быть записан как 1/1, ближайшая и конечная цели процесса здесь совпадают, и та и другая относятся к «здесь-и-теперь» удовлетворению.

Сложнее дело обстоит с защитой против инстинктов. Во всех случаях защита провоцируется тревогой, однако тревога тревоге рознь: опасения Я могут быть связаны с разными угрозами, и соответственно будут различаться цели защитного процесса. Когда имеет место так называемая «тревога сверх-Я», Я защищается от инстинктов не потому, что они противоречат его собственным требованиям, а ради сохранения хороших отношений со сверх-Я, которому эти инстинкты кажутся неприемлемыми [там же, с. 58—60]. Целевую формулу этого вида защиты можно изобразить двойным отношением 3/3/1: защитный процесс стремится изменить внутренние связи между Я и инстинктами (3) с тем, чтобы добиться согласованности между Я и сверх-Я (3) и таким путем избежать неудовольствия (1). При так называемой «объективной тревоге» целевая организация защиты имеет несколько другой характер — 3/2/1: основной мотив — избежать страдания (1) заставляет Я приспосабливаться к требованиям внешней действительности (2)[4], а для этого добиваться определенных внутренних соотношений, в частности сдерживать инстинкты (3).

Хотя многие виды психологической защиты, как они описаны у З. Фрейда и А. Фрейд, имеют другие «целевые формулы», все же можно утверждать, что доминантой в их понимании этого процесса является признание гедонистического устремления как его конечной цели.

Среди исследователей совладающего поведения

[4] Основания, по которым стремление к приспособлению должно быть отнесено именно ко второму типу «внутренних необходимостей», будут изложены в главе II.

главной целью совладания считается достижение реалистического приспособления субъекта к окружающему, позволяющее ему удовлетворять свои потребности. Выражаясь языком принятой нами символики, в знаменателе целевой формулы этого вида переживания нужно проставить цифру 2. При этом защитные механизмы, рассматриваемые теоретиками совладающего поведения как подвид механизмов совладания, относятся к варианту 1/2, что означает, что непосредственными целями защитных механизмов считается достижение максимально возможного в данных условиях эмоционального благополучия, однако эта цель рассматривается в своем отношении к считающейся более существенной цели, приспособлению к действительности. Функция, которая приписывается с этой точки зрения защитным процессам, состоит в предоставлении времени для подготовки других, более продуктивных процессов совладания [195; 208 и др.].

Среди механизмов, главным мотивом которых является второй из выделенных нами типов «внутренних необходимостей», укажем еще на достаточно распространенный вариант, формализуемый как 3/2: это механизмы, которые за счет внутренних согласований (какова конкретная техника подобных согласований — об этом речь впереди) добиваются разрешения на прямую или косвенную реализацию психологически запретной и потому внутренне невозможной деятельности. К ним могут быть причислены те механизмы, которые согласно психоаналитическим описаниям способствуют канализации, контролю и управлению импульсами [213; 238; 241 и др.]. Они, кстати сказать, часто противопоставляются защитным процессам [233, с. 28; 238, с. 161].

Во многих описаниях процессов переживания их главной целью считается достижение непротиворечивости и целостности внутреннего мира, а все остальные цели рассматриваются как промежуточные. По мнению многих авторов, защитные процессы служат именно интеграции Я. Потребность Я в синтезе, гармонии, целостности признается часто самостоятельным мотивом психологической защиты и компенсации в психоанализе [165; 188; 205]. Этой «внутренней необходимости» отвечают также описанные Л. Фестин-

гером процессы снижения когнитивного диссонанса [181; 187].

Наиболее распространенный вариант переживания, подчиняющегося этому главному мотиву, соответствует формуле 3/3 (таково, например, подавление в трактовке К. Хорни: «Предоставление доминирующего положения одной тенденции за счет подавления прочих, рассогласующихся с ней, является бессознательной попыткой организации личности» [205, с. 57]), однако вполне мыслимы и варианты 4/3 и 2/3. Примером первого случая могут служить процессы самоактуализации, рассматриваемые как средство разрешения внутренних конфликтов между Я-реальным и Я-идеальным. Второй случай (2/3) можно проиллюстрировать поведением, в котором реализация, казалось бы, такого самодовлеющего мотива, как сексуальный, оказывается на деле средством избавления от дезинтегрированности сознания [76, с. 248].

Варианты 1/4, 2/4, 3/4, в которых в основание процесса переживания кладется стремление к самоактуализации, отчетливо отражены в представлении Ю. С. Савенко [130] о психологических компенсаторных механизмах: какова бы ни была непосредственная цель компенсаторного процесса — «достижение внутреннего комфорта» (1) или упорядочение различных побуждений (3), конечная его цель состоит в обеспечении возможностей самоактуализации (4).

Таковы основные виды целевой детерминации переживания.

«УСПЕШНОСТЬ» ПЕРЕЖИВАНИЯ

Одно из самых глобальных различений, которое проводится при анализе процессов переживания, носит выраженный оценочный характер и делит их на «удачные» и «неудачные».

Исследователи, для которых центральными категориями являются «совладание» или «компенсаторика», для обозначения «неудачных» процессов обычно привлекают понятия «защиты», оставляя за вторым видом — «удачных» процессов — родовой термин [130, с. 99; 195, с. 277—278; 228, с. 12-13; 247, с. 598—599]. Авторы же, рассматривающие понятие психологичес-

кой защиты как общую для всех процессов переживания категорию, либо говорят об «успешных» и «неуспешных» защитах, либо настаивают на необходимости расширения традиционного понятия защиты, кажущегося им связанным только с «неудачными», негативными или патологическими процессами, так чтобы оно включило в себя и процессы более эффективные, положительные, здоровые [17, с. 124; 20, с. 45; 235, с. 28], либо, наконец, предлагают объединить «удачные» защиты под заголовком сублимации[5] [186, с. 141]. Эти терминологические нюансы нужно иметь в виду, когда ниже речь пойдет об отрицательных сторонах защитных механизмов.

Понятие «неудачного» переживания значительно отличается у разных авторов. Имеется целая гамма степеней, на одном полюсе которой мы находим такие оценочно мягкие характеристики процессов этого рода, как указание на то, что они искажают восприятие реальности, основываются на самообмане и т. п. [103; 195; 201; 208; 226 и др.], а на другом «неудачные» переживания квалифицируются как потенциально патогенная [68, с. 147—148; 179, с. 337; 193, с. 763; 233; 247] или даже «патологическая, а не просто патогенная» психодинамическая активность [245, с. 25—26]. Впрочем, даже самые отрицательные квалификации этих процессов всегда сопровождаются указанием на их позитивные, в частности интегративные, функции [там же].

Наиболее оптимальной следует признать позицию тех исследователей, которые «обвиняют» защитные процессы не столько за содержание их целей, сколько за их ограниченность, за то, что они, образно говоря, хотят слишком малого, готовы платить за это слишком дорого и неразборчивы в средствах.

---

[5] Сублимация используется в этом качестве потому, что большинство психоаналитиков вообще не относят ее к разряду защит, а такой авторитет, как А. Фрейд, хотя и пишет о необходимости причислить этот механизм к девяти наиболее распространенным способам психологической зашиты (к ним относятся: регрессия, подавление, реактивные образования, изоляция, отрицание, обращение против себя, проекция, интроекция, реверсия), — но одновременно и противопоставляет его им как механизм, «относящийся скорее к исследованию нормы, чем невроза» [188, с. 47].

Каковы эти цели, мы уже знаем — защитные процессы стремятся избавить индивида от рассогласованности побуждений и амбивалентности чувств [188], предохранить его от осознания нежелательных или болезненных содержаний [195; 204; 208; 241] и, главное, устранить тревогу и напряженность [199; 203; 204; 210 и др.]. Однако средства достижения этих целей, т. е. сами защитные механизмы, представлены ригидными, автоматическими, вынужденными, непроизвольными и неосознаваемыми процессами, действующими нереалистически, без учета целостной ситуации и долговременной перспективы [103; 199; 213; 226; 238 и др.]. Неудивительно, что цели психологической защиты если и достигаются, то ценой объективной дезинтеграции поведения [210], ценой уступок, регрессии, самообмана [130; 201; 213] или даже невроза.

Словом, по формулировке Т. Крёбера, самое большое, на что может рассчитывать человек, «обладающий даже адекватными защитными механизмами, но не имеющий ничего сверх того, — это избежать госпитализации...» [213, с. 184].

Этот результативный максимум защиты одновременно является минимумом того, на что способно «удачное» переживание. Расположенные на верхнем полюсе шкалы «удачности» высшие человеческие переживания, ведущие к развитию, самоактуализации и совершенствованию личности, в психологии анализируются крайне редко. Предел, который психологи в подавляющем большинстве случаев ставят «удачности» переживания, его результатам, средствам и характеру, не так уж высок. «Удачное» совладающее поведение описывается как повышающее адаптивные возможности субъекта [179, с. 337], как реалистическое, гибкое, большей частью сознаваемое, включающее в себя произвольный выбор, активное [178, с. 532; 213, с. 183—184; 226, с. 13]. Даже для тех авторов, которые основной внутренней необходимостью человеческой жизни считают самоактуализацию, стремление к совершенству и реализации своих потенциальностей [130; 171; 223] и рассматривают переживание именно в отношении этого мотива, оно выступает обычно лишь как средство устранения или компенсации помех самоактуализации, а не как процесс, спо-

Таблица 2

Характеристики «удачных» и «неудачных» процессов переживания

Характеристики	Защита	Совладание
Основные цели	Устранение, предотвращение или смягчение неудовольствия	Приспособление к действительности, позволяющее удовлетворять потребности
Характер протекания:		
произвольность, сознательность	Вынужденные, автоматические, большей частью неосознаваемые и ригидные процессы	Целенаправленные, во многом осознаваемые и гибкие процессы
отношение к внешней и внутренней реальности	Отрицание, искажение, сокрытие от себя реальности, бегство от нее, самообман	Ориентация на признание и принятие реальности, активное исследование реальной ситуации
дифференцированность	Формы поведения, не учитываюшее целостной ситуации, действующие «напролом»	Реалистический учет целостной ситуации, умение пожертвовать частным и сиюминутным. Способность разбивать всю проблему на мелкие потенциально разрешимые задачи
отношение к помощи в ходе переживания	Либо отсутствие поиска помощи и отвержение предлагаемой, либо стремление все возложить на помогающего, самоустранившись от решения собственных проблем	Активный поиск и принятие помощи
Результаты, следствия и функции	Иногда невроз. Частное улучшение (например, локальное снижение напряжения, субъективная интеграция поведения, устранение неприятных или болезненных ощущений) ценой ухудшения всей ситуации, регресса, объективной дезинтеграции поведения Спасают от потрясения, предоставляя субъекту время для подготовки других, более эффективных способов переживания	Обеспечивают упорядоченное, контролируемое удовлетворение потребностей и импульсов. Удерживают субъекта от регресса, ведут к накоплению индивидуального опыта совладания с жизненными проблемами

собный внести в совершенствование личности самостоятельный, позитивный и незаменимый вклад, способный не только избавить личность от чего-то отрицательного, но и прибавить нечто положительное[6].

У ряда исследователей мы находим отдельные намеки на то, что высшие человеческие переживания осуществляются не в плоскости адаптации, а в контексте освоения культурных ценностей [53; 101], что они являются творческими по характеру осуществления [130], а по своим результатам ведут к «расширению границ индивидуального сознания до всеобщего» [149, с. 569; 150], однако в целом эти процессы почти не раскрытая страница научной психологии.

Итак, в психологической литературе более или менее подробно проанализированы два типа переживаний, глобально оцениваемых как негативные и позитивные, «удачные» и «неудачные». Приняв, хотя и не общепринятое, но наиболее распространенное сознание их соответственно с психологической защитой и совладанием, приводим в табл. 2 их основные характеристики.

ТЕХНИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ

Если до сих пор нас в основном занимали характеристики функционального «места» переживания, т. е. его причины, цели, функции и результаты, то теперь необходимо обратиться к анализу наполнения этого места, к самому «телу» процесса, к исследованию того, как в психологической литературе изображается «технология», или «инженерия» переживания. Эта проблема распадается на три части: сначала мы затронем вопрос о носителях процессов переживания, о том, что может выполнять его функции, затем обсудим различные технологические измерения этого процесса и элементарные операции, осуществляемые внутри каждого из этих измерений, и, наконец, коснемся вопроса о внутренней структуре переживания.

[6] Бунинский герой, вспоминая об аресте брата, говорит, что событие это «пережито мной было не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил» (И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М., 1982, с. 157).

а) «НОСИТЕЛИ» ПЕРЕЖИВАНИЯ

Мы уже видели, что любая психическая функция, «любой психологический процесс или качество могут приобретать при определенных условиях компенсаторное значение» [130, с. 100], т.е. выполнять работу переживания.

Психологическая литература изобилует исследованиями, в которых обсуждаются защитные и компенсаторные функции самых разнообразных видов поведения — от художественного творчества и трудовой деятельности[7] до воровства [169] и вообще правонарушения. Ту же роль могут выполнять и такие, казалось бы периферические, процессы, как нарушение константности восприятия[8]. Е. Менакер [224] рассматривает в качестве защитного образования образ-Я, а Г. Лоувенфельд [218] утверждает, что стыд по своему генезису также является защитой. Работу по переживанию ситуации могут брать на себя юмор, сарказм, ирония, юродство [122; 227].

Это перечисление, которое можно было бы продолжать сколь угодно долго, показывает, что диапазон возможных носителей переживания включает в себя абсолютно все формы и уровни поведенческих и психических процессов.

б) «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ» ИЗМЕРЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Любой носитель переживания ведет к желаемому эффекту потому, что он производит некоторые изменения психологического мира человека. Для их опи-

---

[7] Чеховские герои дядя Ваня и Соня стремятся поскорее вернуться к обычной своей работе, чтобы избавиться от тяжелого чувства: «...Тяжело. Надо поскорее занять себя чем-нибудь... Работать, работать!»

[8] В. А. Майерс описывает случай микропсии во время психоаналитического сеанса, объясняя ее с помощью данной Ференци интерпретации детской «фантазии Гулливера», согласно которой необычное уменьшение воспринимаемых размеров объектов и людей должно быть отнесено за счет компенсаторных фантазий ребенка, исполняющих его желание уменьшить пропорции ужасных объектов до наименьшей возможной величины [229]. О. Сперлинг [244] анализирует, наоборот, преувеличение как защиту.

сания приходится создавать особый язык, более того — концепцию психологического мира, и каждый исследователь, изучающий процессы переживания, вольно или невольно опирается на имеющуюся или создает новую такую концепцию. Не может обойти эту проблему и теория деятельности. Ее сознательное и целенаправленное разрешение, однако, настолько сложно, что не использовать все выгоды историко-научного положения, вытекающие из отставания теории деятельности в этой области и состоящие в возможности использовать накопленный в психологической науке позитивный мыслительный опыт разработки этой проблемы, было бы совершенно непростительно.

Но и в таких условиях задача вовсе не проста. На последующих страницах нам предстоит сделать только первый шаг к ее решению — попытаться систематизировать основные преобразования психологического мира, которые, согласно имеющимся в литературе описаниям, выводят человека из критической ситуации. Возможны два метода такой систематизации. Один из них состоит в поиске простейших механизмов, являющихся «элементарными составляющими, из которых Я строит более сложно организованные образования» [245; с. 37]. Более продуктивным представляется подход, опробованный Ю. С. Савенко [130]: в качестве единиц систематизации в рамках этого подхода берутся не элементарные механизмы, а «измерения» личности, каждому из которых соответствует целый цикл преобразований психологического мира.

Наша попытка систематизации пойдет по сходному пути, с той только разницей, что мы не исходим из некоторой концепции структуры личности, задающей эти измерения, а, решая сейчас обзорные задачи, только впервые для себя эти измерения выделяем, следуя за имеющимися в психологической литературе описаниями различных процессов и механизмов переживания. Поскольку материалом нашего анализа являются именно описания (хотя предметом его, разумеется, остается реальность переживания), мы будем говорить о различных парадигмах анализа технологии переживания.

Использование энергетических представлений, с одной стороны, очень распространено в психологии, а с другой — крайне слабо методологически проработано. Не ясно, в какой мере эти представления являются просто моделями нашего понимания, а в какой им может быть придан онтологический статус. Не менее проблематичными являются понятийные связи между энергией и мотивацией, энергией и смыслом, энергией и ценностью, хотя некоторые фактические связи налицо: мы знаем, как «энергично» может действовать человек, если он положительно мотивирован, знаем, что осмысленность дела придает людям как бы дополнительные силы, но очень плохо представляем, как можно связать воедино физиологическую теорию активации, психологию мотивации и отрабатывавшиеся в основном в физике энергетические представления.

Из более конкретных теоретических проблем следует указать, в первую очередь, на присущую психологической идее энергии антиномичность: с одной стороны, считается, что не существует никакой «непредметной» энергии, психической энергии самой по себе, а с другой — признается существование избытков энергии, требующих выхода. Эта проблема связана с оппозицией понятий энергии и силы. Хотя Ж. Нюттен [107, с. 20] пишет, что «в психологии часто вообще не различают понятия «сила» и «энергия», следует упомянуть, что такое различение все-таки проводится. Д. Рапопорт и М. Гилл, например, утверждают, что психологии необходимо и то и другое понятие, так как понятием силы нельзя объяснить такие явления, как «замещение» и «трансформация», а «энергии, которые по определению являются ненаправленными количествами, не могут объяснить направленные явления» [234, с. 156].

Однако мы не можем здесь углубляться в эти проблемы. Наша задача состоит в том, чтобы выделить из имеющихся описаний процессов переживания те предполагаемые или явно стоящие за ними преобразования, которые относятся к энергетическим представлениям, и проиллюстрировать их.

Отнятие энергии. Наиболее распространенной из

операций переживания является «отнятие энергии» у некоторого содержания сознания. Примером может служить известная интерпретация З. Фрейдом работы печали как постепенного отнятия либидо, связанного с образом любимого, а теперь утраченного объекта [155, с. 175]. Отделение от объекта или идеи соответствующей ей «суммы возбуждения» является одной из важнейших гипотез психоаналитической теории защитных процессов [241]. С чисто формальной стороны та же самая операция «отнятия энергии» лежит в основе выделенного Ф. В. Березиным [25, с. 287—288] механизма «интрапсихической адаптации», который он назвал «снижением уровня побуждения». Смысл его состоит в устранении тревоги, вызванной угрозой (действительной или только кажущейся) существенным устремлениям человека, за счет снижения уровня побуждения этих устремлений.

Разрядка энергии. Иллюстрациями этой операции могут служить такие механизмы, как отреагирование и катарсис (в психоаналитическом его понимании), которые практически отождествлялись З. Фрейдом и означали высвобождение энергии подавленных аффектов посредством вспоминания и вербализации вытесненного содержания.

Придание энергии. Назовем в качестве иллюстрации механизм «катексирования» — придание психической энергии действиям, объектам и идеям [72, с. 166—168; 184]. Процесс овладения этой операцией предстает как развитие искусства самомотивирования. Уже упоминавшийся пример «психологического выхода», найденного узниками Шлиссельбургской крепости [86], с энергетической точки зрения должен быть истолкован именно как придание заключенными энергии деятельности, навязанной им администрацией.

Перевод энергии. Эта операция не всегда является суммой операций отнятия и придания энергии, как может показаться с первого взгляда, поскольку закон сохранения энергии, по-видимому, на психологическую категорию энергии не распространяется. Перенос энергии с одного психического содержания на другое не обязательно связан с уменьшением «заряженности» первого. Скажем, в примере, о котором только что шла речь, основной мотив революционеров (мотив борьбы с самодержавием), из которого была

почерпнута энергия для выполнения тюремного задания, в итоге нисколько не ослаб, а, наоборот, лишь укрепился. Это «нарушение» закона сохранения энергии связано операцией ее *порождения.*

Перевод энергии имеет два основных вида — *перенос* ее от одного содержания (мотива, действия, идеи) к другому и *переход* из одной формы в другую.

Иллюстрацией первого вида может служить механизм «трансформации импульса» — «способность переводить энергию импульса, маскируя его посредством символизации, в его противоположность» [213, с. 188]. В защитной функции этот механизм представляет собой «реактивное образование» (reaction formation) — трансформацию импульса в его противоположность с возможным прорывом первичного импульса, который, как обычно считается, при этом не трансформируется [188, с. 9, 46, 51, 190; 213, с. 188; 235, с. 136—137][9]. К операции переноса энергии может быть отнесен также механизм «сдвига мотива на цель» [87; 89].

Чрезвычайно важно различить два возможных исхода переноса энергии. В одном случае (как это имеет место при реактивном образовании) содержание, получившее энергию, не связывается с ней органически, оно становится достаточно сильным, чтобы определять соответствующие действия, но сильно оно не своей силой, а заемной энергией мотива-«донора», этого мотива не изменяет, а чаще всего ему же и служит, хотя, по видимости может быть противоположно ему. В другом случае энергия фиксируется в новом содержании, срастается с ним, и, стало быть,

[9] Заботливость, вежливость могут быть «реактивными образованиями», с помощью которых субъект пытается защититься от собственных агрессивных побуждений. А. Ф. Лосев [97, с. 57] анализирует одно место из «Вечного мужа» Ф. М. Достоевского: «...Павел Павлович ухаживает за больным Вельчаниновым, который был любовником его покойной жены. Во время этого тщательнейшего ухода за больным он пытается зарезать спящего Вельчанинова бритвой, причем раньше никаких подобных мыслей у Павла Павловича не было и в помине. «Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет убить, — думал Вельчанинов». «Гм! Он приехал сюда, чтобы «обняться со мной и заплакать», — как он сам подлейшим образом выразился, то есть он ехал, чтобы зарезать меня, а думал, что едет «обняться и заплакать». Заплакать и обняться — это нечто противоположное желанию зарезать».

происходит мотивационныи генезис — рождается новый мотив, новая деятельность, лишь генетически связанная с мотивом-«донором», а в функциональном плане получившая «автономию» [170]. Фиксация энергии отличается от придания энергии и может рассматриваться как отдельная операция энергетической парадигмы. Иллюстрацией переноса энергии с фиксацией может служить процесс «сдвига мотива на цель» (когда он выступает как механизм развития), а также сублимация, понимаемая не как нахождение социально приемлемых каналов для удовлетворения примитивных импульсов, а как действительная трансформация этих импульсов.

Второй вид перевода энергии связан с преобразованием ее формы. Примеры этой операции — механизм конверсии[10] и одна из фаз катарсиса (психоаналитически понимаемого), связанная с соматопсихическим переходом. «Действие катартического метода Брейера, — пишет Фрейд [189, с. 50], — основано на постепенном возвращении возбуждения... из соматической сферы в психическую, с последующим посильным примирением противоположностей посредством мыслительной активности...»

Порождение энергии. Эта операция почти не фигурирует в описаниях процессов переживания, а между тем ей следует придать большое теоретическое значение. Именно как порождение энергии следует понимать с формально-энергетической точки зрения результат (точнее, один из результатов) эстетического катарсиса: «Зритель уходит не «разряженным», а «наполненным» и «воодушевленным» [149, с. 568]. Всякий успех, достижение, удача как бы повышают энергетический потенциал человека, что выражается в постановке им более высоких целей [107] и в способности преодолевать большие трудности и препятствия.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА

В рамках этой парадигмы рассматриваются те «пространственные» измерения, в которых описывают-

[10] З. Фрейд ввел понятие конверсии для обозначения трансформации свободной «суммы возбуждения» (т. е. энергии, отделившейся от несовместимой с Я идеи при ее вытеснении) в соматические симптомы [189, с. 49].

ся процессы переживания. Можно выделить два класса таких измерений — содержательно-психологические и формально-топические. К первому относятся такие специфически психологические оппозиции, как сознательное — бессознательное, интрапсихическое — интерпсихическое, ко второму — такие неспецифические для психологии, но тем не менее важные для нее пространственные измерения, как удаление — приближение, расширение — сужение и т.п. Рассмотрим их.

Содержательно-психологические измерения

Психосоматическое измерение может быть проиллюстрировано названными выше механизмами конверсии и катарсиса.

Сознательное — бессознательное. Это измерение — самое фундаментальное для психоаналитической теории защитных механизмов. Целый ряд защитных процессов, и прежде всего вытеснение, предполагает существование двух «пространственных» областей — сознания и бессознательного, переходы содержаний между которыми являются психологически существенными событиями. Фрейд [154] говорил, что вытеснение — это понятие топически-динамическое.

Интерпсихическое — интрапсихическое. Переходы интерпсихического (точнее интерперсонального) в интрапсихическое и наоборот особенно характерны для механизмов проекции, определяемой как «процесс приписывания человеком другим людям личностных черт, характеристик и мотиваций в зависимости от своих собственных черт, характеристик и мотиваций» [204, с. 677][11], и интроекции. Интроекция — это «процесс, посредством которого функции внешнего объекта перенимаются его представителями в психике и отношения с внешним объектом замещаются отношениями с воображаемым внутренним объектом. Возникающая в результате психическая структура называется интроектом, интроецированным объектом или внутренним объектом...» В частности, «сверх-Я формируется путем интроекции фигур родителей»

[11] Феномен проекции, в отличие от других «механизмов» переживания, активно обсуждается в советской психологической литературе [39; 40; 75; 120; 128; 131; 137—139 и др.].

[235, с. 77—78]. Функция интроекции как защитного механизма состоит согласно психоаналитическим представлениям в снижении тревоги отделения от родителей. Этот механизм известен не только психоаналитическому мышлению. Его действие ясно прослеживается в интересно описанной Э. Линдеманном [217] «работе горя». В «Старике» Ю. Трифонова читаем: «Жена Павла Евграфовича умерла, но совесть ее жива».

Само интрапсихическое «пространство» может служить ареной процессов переживания. Сюда относится большинство механизмов, которые мы будем обсуждать в рамках информационно-когнитивной парадигмы. Назовем для примера механизм «изоляции», состоящий, по определению А. Фрейд, в «удалении инстинктивных импульсов из их контекста при сохранении их в сознании» [188, с. 37—38]. Процессы переживания могут развертываться и в *интерпсихическом пространстве,* в пространстве общения (см. ниже).

Пространство деятельности. Процессы переживания часто описываются как преобразование или замена структурных компонентов деятельности, иначе говоря, как *замещение.* Основой понятия замещения является представление о такой связи между двумя разновременными и хоть в чем-то отличающимися деятельностями, когда последующая хотя бы отчасти решает проблемы, стоявшие перед предыдущей, но не разрешенные ею. Замещающая деятельность может отличаться от исходной *переходом активности в иной план* (например, от предметно-практического осуществления в плоскость фантазии), *изменением формы активности* (просьба может смениться требованием, требование — угрозой), *сдвигом к генетически более ранним способам поведения.* Кроме изменения самой активности укажем также на изменения непосредственной цели или объекта действия. Перечисленный набор «параметров» замещения не единственно возможный. Д. Миллер и Г. Свэнсон, например, полагают, что параметры замещения — это источник действия, само действие, соответствующая эмоция и объект [225].

К. Левин сближает замещение с «орудийной» деятельностью в том смысле что замещающая деятель-

ность выступает как орудие удовлетворения «первичной внутренней цели» [215]. Это верно, но только при определенных условиях. Замещение, на наш взгляд, может выступать в двух функциях по отношению к исходной деятельности, в функции «орудия», или средства, и в функции переживания в зависимости от психологического содержания той промежуточной ситуации, которая имела место между исходной и замещающей активностью. Если это была просто ситуация затруднения, то замещающая деятельность психологически выступает в «орудийной» функции, как средство достижения той же самой цели: не удалось позвонить по телефону, можно отправить телеграмму. Если же никакого «можно» не остается и человек впадает в состояние фрустрации, замещающая деятельность выступает в функции переживания. Таково, например, значение действия одной испытуемой Т. Дембо, которая после длительных неудач в решении экспериментальной задачи, состоящей в набрасывании колец на бутылки, вышла, расплакавшись, за дверь и в сердцах нацепила кольца на вешалку [215, с. 181].

Подчеркнем, что речь идет о психологическом значении замещающей деятельности для самого субъекта, а оно может на протяжении ее осуществления меняться в зависимости от объективного хода событий и изменения субъективного состояния человека, так что одна и та же замещающая деятельность может реализовывать обе выделенные функции.

Многие авторы вслед за 3. Фрейдом считают замещение не частным защитным или компенсаторным механизмом, а «базовым способом функционирования бессознательного» [246, с. 631]. Д. Миллер и Г. Свэнсон [225; 226] используют понятие замещения как центральную категорию своей теории психологической защиты, истолковывая каждую защиту как тот или иной вид замещения.

Формально-топические измерения

«Направление». Ю. С. Савенко относит к этому измерению механизм отреагирования, который понимается им как «исчерпывающий единовременный

ответ на свою причину, но ориентированный не на нее, а в сторону, на посторонний объект» [130, с. 103], и механизм переключения. «Смещенная агрессия» [199], когда злость срывается не на виновнике неприятностей, а на ком-нибудь другом, — один из самых показательных примеров изменения «направления» деятельности. Ясно, что изменение «направления» имеет место также в механизмах замещения объекта, сублимации, реактивного образования, о которых мы уже говорили.

Расширение — сужение психологического пространства личности. Это измерение очень обширно по числу относящихся к нему механизмов. Ю. С. Савенко определяет сужение поля личности как «отказ» самоактуализации от ряда уже осуществленных реализаций, что выражается в разного рода уступках, отступлениях, ограничениях, торможениях и т. д. [130].

А. Фрейд [188] посвящает защитному механизму «ограничения Я» целую главу. В одном из ее описаний маленький мальчик бросает минуту назад доставлявшее ему огромное удовольствие занятие — раскрашивание «волшебных картинок», увидев, как то же самое получается у сидящей рядом самой А. Фрейд. Очевидно, объясняет она, его неприятно поразила разница в качестве исполнения, и он решил ограничить себя, лишь бы избежать неприятного сравнения [188, с. 101]. Различные процессы самоограничения очень важны при совладании с соматическим заболеванием, когда интересы здоровья требуют или сама болезнь вынуждает отказаться от многих привычных и привлекательных действий, от ставших невыполнимыми планов, от переставшего отвечать реальным возможностям уровня притязаний [26; 182; 195 и др.].

Точное функционирование механизмов «расширения» психологического пространства особенно существенно для адекватного переживания положительных с точки зрения личности событий — успеха, социального признания, выздоровления, неожиданной удачи и т. д., поскольку такие события, так же как и отрицательные, представляют собой для личности проблему, которая может решаться неудачно [200].

Размыкание — замыкание психологического про-

странства. Размыкание и замыкание — это операции, связанные с предыдущими, но не совпадающие с ними. Они состоят в отгораживании, отделении, возведении барьеров в межличностном общении или наоборот в преодолении этих барьеров, раскрытии себя и т. д. (иллюстрации см. в гл. III).

«Расстояние». Изменение психологического «расстояния» [119] часто служит целям переживания. Сюда относятся механизмы, действующие как в интерпсихической плоскости — отдаление от ранее близких людей, ценностей или, наоборот, сближение с ними, так и в интрапсихической — механизмы изоляции, вытеснения, «дискриминации» («способность отделять идею от чувства, идею от идеи, чувство от чувства») [213, с. 185—186]. Механизм «дискриминации», по Т. Крёберу, в защитной функции предстает как изоляция, а в функции совладания — как объективация — «отделение идеи от чувства для рациональной оценки или суждения, где это необходимо» [там же].

Верх — низ. Это пространственное измерение всегда символически насыщено и сопряжено с оценочной шкалой. Многие процессы, реализующие переживание, имеют явно выраженное «вертикальное» направление, которое содержательно связано с их характером. Так, вытеснение ориентировано «вниз», а катарсис — «вверх». Ясно, что низ и верх не должны пониматься здесь натуралистически. Позже в гл. III нам представится возможность показать на конкретном примере существенность «вертикальных» психологических движений в осуществлении переживания.

ВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА

Эта парадигма используется при описаниях процессов переживания гораздо реже, чем предыдущие. К ней можно отнести следующие операции: *«Временное контрастирование»* [130] — соотнесение переживаемых событий с действительными или возможными событиями, прошлыми, настоящими или будущими. Например, успокаивание себя: «хорошо хоть так, могло быть хуже», «сейчас все-таки лучше, чем было раньше (будет потом)» и т.п.

Помещение события в долговременную перспективу [228] — операция, отличающаяся от предыдущей тем, что переживаемое событие рассматривается субъектом не в сравнении с другим событием, а на фоне некоторой длительной перспективы, в пределе всей жизни человека или даже жизни человечества[12].

В ходе переживания может осуществляться *фиксация* на каком-либо временном моменте. «Образцовый пример фиксации на прошлом представляет из себя печаль, которая приводит к полному безразличию к настоящему и будущему» [154, с. 66].

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

В рамках этой, связанной с предыдущей, парадигмы временная ось жизни поляризуется идеей развития. К ней могут быть причислены следующие механизмы:

Регрессия. В психоанализе регрессией называется «защитный механизм, посредством которого субъект стремится избежать тревоги... возвращаясь на более ранние стадии либидиозного развития или развития Я» [235, с. 138—139].

Катарсис — этот уже не раз упомянутый механизм в том значении, которое ему придает Т. А. Флоренская [149], является процессом, выполняющим работу переживания и одновременно развивающим личность.

Интроекция также выступает и как механизм психологической защиты, и в то же время как механизм развития, повышая автономию Я [235, с. 77—78].

Сублимация. Если считать, что в процессе сублимации примитивные импульсы не просто камуфлируются, а действительно трансформируются, то эта трансформация должна быть признана развивающей.

[12] Нужно заметить, что этот механизм проявляется не только во временной форме. Например, К. Гольдштейн, определяя мужество как «положительный ответ на шоки существования», пишет, что «эта форма преодоления тревоги предполагает способность видеть «установку на возможное» [194, с. 306]. Близкие идеи высказываются также Ф. В. Бассиным с соавторами [20, с. 44; 21, с. 200].

Все когнитивные процессы, коль скоро они служат переживанию, носят пристрастный, «идеологический» характер, т. е. доминирующим для них является интерес, мотивированность субъекта, а не объективность отражения. Это значит, что все они являются в каком-то смысле оценочными операциями. Однако среди них можно выделить такие процессы, которые непосредственно строятся на операциях оценивания реальности, и такие, в которых оценивание не является собственно методом решения задач переживания.

По этому основанию мы различаем в пределах информационно-когнитивной парадигмы два измерения — «оценки» и «интерпретации» (ср.: 130). Интерпретационные механизмы отличаются от оценочных тем, что хотя бы по видимости имеют форму объективного, беспристрастного отражения.

Оценка

Интрапсихические оценивающие механизмы можно проиллюстрировать процессами, снижающими «когнитивный диссонанс», вызванный принятием решения. Как показали эксперименты, проведенные Л. Фестингером с сотрудниками, после выбора одной из двух почти равных по привлекательности альтернатив у испытуемых наблюдалась систематическая переоценка их, завышающая оценку избранной, снижающая оценку отвергнутой альтернативы и уменьшающая таким образом когнитивный диссонанс, феноменально ощущавшийся как чувство сожаления [181][13].

Интерперсональные оценивающие механизмы составляют многочисленные приемы, направленные на поддержание или повышение своей самооценки, оценки в глазах окружающих, чувства самоценности и собственного достоинства и т. д. В монологической форме, предполагающей только наличие слушателя или зрителя, но не равноправного «Ты», это различ-

[13] Обстоятельный разбор экспериментальных работ по когнитивному диссонансу можно найти в монографии В. П. Трусова [146]. См. также книгу Г. М. Андреевой и др. [9].

ные «демонстративные» акты — хвастовство, бравада, прямое или косвенное подчеркивание своих достоинств и преимуществ (физических, интеллектуальных, экономических, владения информацией и пр.). В диалогической форме — это непосредственно в общении протекающая борьба с явными и скрытыми оценками партнера по общению. Предметом оценки и оценочной борьбы может быть все, что человек относит к себе — от собственных поступков, мотивов, черт до принадлежащих ему вещей и учреждения, в котором он работает. Борьба против отрицательной оценки может быть пассивной, избегающей (когда субъект разотождествляет себя с какой-либо категорией людей, отрицательно охарактеризованных в разговоре) и активной, контратакующей (в этом случае дискредитируются оценивающий субъект, мотивы его оценки или ставятся под сомнение ценности, из которых он исходил, производя оценку и т. д.). Диалогическая оценочная борьба часто принимает формы сарказма, ехидства, иронии [122].

Интерпретация

Механизмы этого измерения могут иметь интеллектуальную и перцептивную форму.

Интеллектуальная форма. Среди различных интеллектуальных операций (сравнения, обобщения, умозаключения и пр.), участвующих в осуществлении переживания, нужно особенно отметить операцию причинного истолкования событий. Объяснение или отыскание причин (истоков, оснований, поводов, мотивов, виновников и т. д.) переживаемого события (в качестве которого может выступать внешнее происшествие, собственное поведение, намерение или чувство) — очень важный элемент процесса переживания, от которого во многом зависит все его содержание. Наиболее ярко эта операция проявляется в известном механизме рационализации. Рационализацию определяют как приписывание логических резонов или благовидных оснований поведению, мотивы которого неприемлемы или неизвестны [199; 213], или как оправдание перед другими или самим собой своей несостоятельности [210][14].

[14] Рационализацию отличают от интеллектуализации, которая представляет собой, по определению Т. Крёбера, «уход из ми-

Перцептивная форма. Перцептивные формы «интерпретации» проявляются при восприятии событий (внешних и внутренних), других людей и самого себя. Эти три случая хорошо репрезентируются защитными механизмами отрицания, проекции и идентификации, из которых мы рассмотрим первый и последний, поскольку они еще не были упомянуты в нашем обзоре.

Отрицание определяется обычно как процесс устранения травмирующих восприятий внешней реальности. На этом основании он противопоставляется вытеснению как защите против душевной боли, вызванной внутренними инстинктивными требованиями [188]. Впрочем, этот термин используется иногда и для описания защитного искажения «перцепции внутренних состояний» [25, с. 284]. Т. Крёбер пишет, что основная формула отрицания — «нет боли, нет опасности» [213], что, однако, не должно вводить в заблуждение относительно простоты тех реальных процессов, результатом которых является отрицание каких-либо фактов реальности. Р. Столоров и Ф. Лэчман [247] описывают случай переживания пациентки, которая в четырехлетнем возрасте потеряла отца, показывающий, что в ее сознании сложилась целая защитная система, призванная отрицать факт этой утраты. Это была сложная конструкция, которая развивалась в ходе развития личности, переинтерпретируя меняющиеся обстоятельства жизни пациентки (например, второе замужество матери, свидетельствующее о смерти отца) так, чтобы сохранить веру в то, что отец жив.

Идентификация. Если при проекции субъект в другом видит себя, то при идентификации — в себе другого. «В идентификации индивид преодолевает свои чувства одиночества, неполноценности или неадекватности принятием характеристик другого, более удачливого лица. Иногда идентификация может быть не с человеком, а с организацией, институтом» [210]. А. Фрейд описывает случаи преодоления страха или тревоги посредством произвольной или непроизвольной «идентификации с агрессором». Девоч-

---

ра импульсов и аффектов в мир слов и абстракций» [213, с. 187].

ка, боявшаяся проходить через темную залу, однажды преодолела свой страх и поделилась затем секретом победы над собой с младшим братом: «В зале совсем не страшно, — сказала она, — нужно только притвориться, что ты и есть то самое привидение, которое боишься встретить» [188, с. 119]. По интенсивности идентификация может достигать степени, когда «человек начинает жить жизнью другого» [там же, с. 135]. Такие случаи нередки при переживании утраты близкого человека [210; 217; 250].

Завершая на этом обсуждение вопроса о «технологических» измерениях переживания, скажем, что можно было бы выделить в самостоятельные парадигмы динамическую и ценностную, которые у нас оказались растворенными в других парадигмах. Однако динамическая парадигма может быть представлена как результат «умножения» чисто энергетических представлений, задающих интенсивность, на содержательно-пространственные представления, привносящие направленность в описание психических процессов. Что касается ценностной парадигмы, то она в чистом виде, а не в виде оценочного измерения практически не представлена в описаниях процессов переживания.

в) ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Обычно в переживании участвует не один какой-нибудь механизм, а создается целая система таких механизмов. «Клинический опыт показывает, — пишет Д. Рапопорт, — что защитные мотивы сами становятся предметом защитных образований, так что для того, чтобы объяснить самые обычные клинические явления, приходится постулировать целые иерархии таких защит и производных мотиваций, надстраивающихся одна над другой» [цит. по: 241, с. 28]. Однако признание защитных и компенсаторных систем и иерархий само по себе не освобождает многих авторов от атомистических презумпций и связанных с ними иллюзорных надежд рано или поздно отыскать исчерпывающий набор защитных или компенсаторных «первоэлементов», из которых складываются эти системы; надежд, настолько род-

ственных методологической мечте Уотсона и многих рефлексологов обнаружить врожденный репертуар атомарных реакций — кирпичиков любого возможного поведения, что есть все основания полагать, что теоретическое мышление в области изучения процессов переживания проделает такую же эволюцию, которая в физиологическом изучении поведения ознаменовалась переходом от рефлексологических представлений о движении к физиологии активности Н. А. Бернштейна. Эту эволюцию тем легче «предсказать», что она уже осуществляется как на уровне эмпирических исследований преодоления человеком критических жизненных ситуаций, в которых клинический опыт буквально навязывает специалистам представление об уникальности каждого процесса переживания, так и на уровне теоретической рефлексии: «Перспективным представляется подход к компенсаторным механизмам как эвристике, — пишет Ю. С. Савенко, — т. е. как к системе приемов, формирующихся конкретно к ситуации и не лишенных творческого начала, не ограничивающихся привычными шаблонами» [129, с. 71].

Ориентироваться на такого рода методологию — это не значит отрицать существование более или менее устойчивых механизмов переживания, это значит понимать такие механизмы как особые «функциональные органы» [69; 84; 91; 92], т. е. определенные организации, складывающиеся для реализации целей конкретного процесса переживания [197].

Подобный «функциональный орган», или механизм переживания, раз сложившись, может стать одним из привычных средств решения жизненных проблем и пускаться субъектом в ход даже при отсутствии ситуации невозможности, т. е. оставаться переживанием лишь по своему происхождению, но не по функции.

В длительном переживании можно наблюдать применение большого количества средств и стратегий, постепенно сменяющих друг друга. Несмотря на большие вариации в этой смене наблюдаются особые закономерности. Д. Гамбург и Дж. Адамс, анализируя совладание с соматическим заболеванием, выявили следующую закономерность смены фаз переживания: «Сначала это попытки снизить значение события.

Во время этой острой фазы наблюдаются тенденции к отрицанию природы заболевания, его серьезности и вероятных последствий. На смену фазе «защитного избегания» рано или поздно приходит другая, когда пациенты не отворачиваются от действительных условий заболевания, ищут информацию о факторах, способствующих излечению, принимают вероятность долговременных ограничений... Этот переход от отрицания к признанию обычно совершается не одномоментно, а за счет целого ряда приближений, в результате которых больной приходит к полному пониманию своей ситуации» [195, с. 278]. Но отрицание может быть и второй фазой процесса, означая патологическое развитие переживания [247, с. 598-599].

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Предыдущие параграфы показали, как обширна и многообразна эмпирическая область, подпадающая под понятие переживания. Вполне понятно, что, пожалуй, самой важной теоретической проблемой является упорядочение всего этого многообразия.

Существует целый ряд интересных попыток классификации защитных, компенсаторных и совладающих механизмов, однако в целом атмосфера вокруг этой проблемы пронизана разочарованием. Г. Сёбак описал многочисленные трудности, возникающие при попытке составить классификацию защитных механизмов. Главная из них состоит в том, что теория психологической защиты «не содержит предположений явных или неявных, которые ограничивали бы класс защитных механизмов» [241, с. 181]. «Классификация отдельных механизмов произвольна, и между ними нет четких и ясных границ», — констатируют Е. Хилгард и Р. Аткинсон [199, с. 515], а Р. Шефер пессимистически утверждает, что и «не может быть «подлинного» и «полного» перечня защит, а могут быть только перечни в большей или меньшей степени неполные, теоретически непоследовательные и бесполезные в упорядочении клинических наблюдений и экспериментальных данных» [238, с. 162].

В какой-то мере Р. Шефер прав, но из его правоты следует не то, что задача упорядочения фактов в области изучения процессов переживания вообще неразрешима, а то, что она неразрешима в существующей формулировке. Искать «подлинный» и «полный» перечень процессов переживания — значит неправильно ставить задачу. За такой ее постановкой кроется неадекватное предположение о процессах и механизмах переживания, как о натуральных самодостаточных субстанциональных сущностях, как о вещах, как о фактах, а не актах, предположение, натуралистической сути которого не меняет распространенное представление, что защитные и компенсаторные механизмы являются теоретическими конструкциями, поскольку сами по себе непосредственно не наблюдаются [130; 188; 241][15].

Значительно огрубляя дело, можно сказать, что существуют два противоположных, но дополняющих друг друга метода познавательной систематизации. Первый метод — эмпирический, с него начинается всякое научное исследование. Его цель — описание подлежащих систематизации объектов и первичное расчленение их на группы, которое чаще всего приобретает форму родо-видовой классификации. Именно этот метод и преобладает сейчас в изучении процессов переживания. Он необходим на первоначальных этапах изучения всякой сложной действительности. Однако действительная цель науки состоит не в получении все более абстрактных обобщений, к которым ведет эмпирический метод, а в воспроизведении в мышлении конкретного [1]. «Теоретическое воспроизведение реального конкретного как единства многообразного осуществляется единственно возможным и в научном отношении правильным *способом восхождения от абстрактного к конкретному*» [56, с. 296].

Следующая глава представляет собой попытку применить этот теоретический метод «восхождения» к исследованию переживания.

[15] Примечательно, что в рефлексологии и бихевиоризме, с которыми мы выше сравнили методологическую ситуацию в теории переживания, натуралистическое представление о «единицах» изучаемого процесса неизбежно приводит к отказу от их онтологизации [см.: 242, с. 341].

Глава II ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ

§ 1. ПОСТРОЕНИЕ ТИПОЛОГИИ «ЖИЗНЕННЫХ МИРОВ»

Общая цель нашей работы — разработка теоретических представлений о переживании. С точки зрения этой цели смысл предыдущей главы состоял в подготовке условий для ее достижения: мы ввели в категориальный аппарат теории деятельности понятие переживания, выделили соответствующий ему срез психологической реальности и показали, как эта реальность отображается в уже существующих концепциях. В итоге мы имеем, с одной стороны, весьма абстрактную теоретико-деятельностную идею о переживании, с другой стороны, некоторое представление о соответствующей эмпирической области, данное в форме совокупности фактов, обобщений, различений, классификаций и предположений о закономерностях процессов переживания. Теперь задача заключается в том, чтобы попытаться развернуть исходные абстракции теории деятельности в направлении этой эмпирии, т. е. осуществить систематическое «восхождение» от абстрактного к конкретному.

* *
*

Переживание в предельно абстрактном понимании — это борьба против невозможности жить, это в каком-то смысле борьба против смерти внутри жизни. Но, естественно, не все, что отмирает или подвергается какой-либо угро-

зе внутри жизни, требует переживания, а только то, что существенно, значимо, принципиально для данной формы жизни, что образует ее внутренние необходимости. Если бы удалось выделить и описать отдельные формы жизни и установить имманентные им законы, или «принципы», то очевидно, что эти законы определяли бы в существенном не только «нормальные» процессы реализации жизни, но и экстремальные жизненные процессы, т. е. процессы переживания. Иначе говоря, каждой форме жизни соответствует особый тип переживания, а раз так, то для того, чтобы выяснить основные закономерности процессов переживания и типологизировать их, необходимо установить основные психологические закономерности жизни и типологизировать «формы жизни». Построение такой общей типологии и составляет непосредственную задачу настоящего параграфа.

ПОНЯТИЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНЦЕПЦИИ А.Н. ЛЕОНТЬЕВА

Для решения этой задачи необходимо в первую очередь проанализировать саму категорию жизни, как она выступает с психологической точки зрения. В рамках деятельностного подхода анализ этой предельной для психологии категории должен проводиться (и уже отчасти проведен А. Н. Леонтьевым [87]) в сопоставлении с центральной для этого подхода категорией деятельности.

В концепции А. Н. Леонтьева понятие деятельности впервые (логически, а не хронологически) появляется в связи с обсуждением понятия жизни в ее самом общем биологическом значении, «в ее всеобщей форме» [там же, с. 37], жизни как «особого взаимодействия особым образом организованных тел» [там же, с. 27]. Особенность этого взаимодействия состоит, в отличие от взаимодействия в неживой природе, в том, что оно является необходимым условием существования одного из взаимодействующих тел (живого тела) и что оно носит активный и предметный характер. Те специфические процессы, кото-

рые осуществляют такое взаимодействие, и есть процессы деятельности [там же, с. 39]. «Деятельность есть молярная, не аддитивная единица жизни...» [89, с. 81]. Это определение А. Н. Леонтьева распространяется и на жизнь допсихическую, и на жизнь, опосредованную психическим отражением, и на жизнь человека, опосредованную сознанием. Однако в последнем случае жизнь может пониматься двояко, и соответственно этому различаются и два понятия деятельности. Когда жизнь берется неиндивидуализированно, как абстрактная человеческая жизнь вообще, деятельность рассматривается как сущность этой жизни и как материя, из которой соткано индивидуальное бытие. Когда жизнь рассматривается как конкретное, индивидуализированное, конечное жизненное целое (данное, например, в биографической фиксации), как «совокупность, точнее, система сменяющих друг друга деятельностей» [там же], то понятие «единица» в приложении к деятельности должно трактоваться как «часть»: жизнь как целое состоит из частей — деятельностей. Речь здесь идет уже не о деятельности «в общем, собирательном значении этого понятия» [там же, с. 102], а об особенной или отдельной деятельности, «которая отвечает определенной потребности, угасает в результате удовлетворения этой потребности и воспроизводится вновь...» [там же].

Центральным, ключевым пунктом в понятии отдельной деятельности является вопрос о мотиве. Этот на первый взгляд частный вопрос на деле является решающим для всей теории деятельности, нервом этой теории, сгустившим в себе ее основные онтологические и методологические основания. Поэтому он требует подробного обсуждения.

Введенное А. Н. Леонтьевым «понимание мотива как того предмета (вещественного или идеального), который побуждает и направляет на себя деятельность, отличается от общепринятого» [там же]. Оно породило массу критических откликов, немного «подправляющих» эту идею или отвергающих ее в корне [8; 32; 44 и др.]. Ближайшей причиной такого неприятия является то, что этот тезис рассматривается не как содержательная абстракция, а как обобщение эмпирически наблюдаемых фактов побуждения дея-

тельности, истинность которого может быть верифицирована прямым соотнесением его с эмпирией. При этом, разумеется, достаточно хотя бы одного факта, не укладывающегося в представление о побуждении деятельности предметом, отвечающим потребности, чтобы это представление было признано ложным или по крайней мере недостаточным.

А таких фактов множество. В самом деле, возражают А. Н. Леонтьеву, разве вот этот внешний предмет[1] сам по себе способен побудить субъекта к деятельности? Разве он не должен сначала воспринять предмет, прежде чем тот (а значит, уже не сам предмет, а его психический образ) сможет оказать на него мотивирующее воздействие? Но и психического отражения предмета отнюдь недостаточно для того, чтобы вызвать деятельность субъекта. Для этого должна быть еще актуализирована потребность, которой отвечает этот предмет, иначе живые существа, столкнувшись с предметом потребности, каждый раз приступали бы к ее удовлетворению вне зависимости от того, есть ли в данный момент в этом нужда или нет, — а это противоречит фактам [44, с. 110]. Далее, само объективное обострение потребности должно в какой-то форме отразиться в психике, ибо в противном случае субъект не сможет отдать предпочтение ни одной из возможных деятельностей [33; 44]. И наконец, последним событием в этом ряду отражений должно быть связывание двух психических образов — образа потребности и образа соответствующего ей предмета. Только после всего этого произойдет побуждение, и побудителем выступит, следовательно, не сам предмет, а его значение для субъекта. Так рассуждают оппоненты А. Н. Леонтьева.

Вывод из приведенной аргументации может быть резюмирован в следующем антитезисе: предмет потребности не способен сам по себе побудить и направить деятельность субъекта, т. е. не является мотивом деятельности [8]. Хотя против этого антитезиса можно выдвинуть контраргумент, состоящий в указании на факты так называемого «полевого поведе-

[1] Предмет по понятию нечто внешнее, нечто перед субъектом находящееся, предстоящее, хотя и не обязательно материальное.

ния», в котором, казалось бы, сами вещи заставляют человека действовать, этот контраргумент ничего не решает. Во-первых, чисто логически: ведь формула А. Н. Леонтьева претендует на общезначимость, а «полевое поведение» лишь один класс процессов деятельности. Во-вторых, потому что и само «полевое поведение» можно трактовать по-разному, и одно из возможных объяснений механизма его побуждения состоит в том, что оно начинает осуществляться не под действием самого по себе предмета, а в результате его восприятия субъектом (а как же иначе?), которое, нужно думать, пробуждает соответствующую потребность, которая, в свою очередь, выражается в психике, например в форме непосредственного желания овладеть этим предметом. Только вследствие всей этой цепи событий происходит побуждение деятельности. Иллюзия же инициирующей самодостаточности предмета создается сокрытостью его значения [55].

Но если побуждение даже в случае «полевого поведения», по видимости более всего подходящего под леонтьевскую формулу, при ближайшем рассмотрении оказывается опосредованным различными отображениями предмета и потребности, то что же тогда говорить, например, о поведении, вытекающем из волевого решения или сознательного расчета, отсутствие прямого побуждения которых предметом потребности очевидно.

Итак, если рассматривать формулу, утверждающую, что мотивом деятельности является предмет, отвечающий потребности субъекта, как попытку обобщения всего многообразия эмпирических случаев побуждения деятельности, то оказывается, что она не выдерживает критики.

Но в том-то и дело, что формула эта совсем иного рода. У нее совершенно другие претензии, другой логический статус и другие онтологические основания, чем те, которые неявно приписывает ей изложенная критика. А именно: она не претендует на охват всего эмпирического многообразия возможных фактов побуждения индивидуальной деятельности; по своей логической природе она является абстракцией, причем абстракцией довольно высокого порядка, т. е. таким утверждением, от которого предстоит еще дли-

тельный путь теоретического «восхождения» к конкретному. Последнее не означает, что само это утверждение до «восхождения» не содержит в себе некоторой конкретной истины; обсуждаемая формула, как и любой абстрактный закон, совпадает с конкретным положением дел, но только при выполнении определенных условий.

Чтобы установить, каковы эти условия, необходимо описать онтологию, лежащую в основании теории деятельности А. Н. Леонтьева и его понимания мотивации, — онтологию, на деле прямо противоположную онтологии, приписываемой этому пониманию его критиками, в рамках которой оно оказывается несостоятельным. Эти две онтологии могут быть условно названы:

«Онтология жизненного мира»
и «онтология изолированного индивида».

В пределах последней первичной для последующего теоретического развертывания считается ситуация, включающая, с одной стороны, отдельное, изолированное от мира существо, а с другой — объекты, точнее вещи, существующие «в-себе». Пространство между ними, пустое и бессодержательное, только отъединяет их друг от друга. И субъект и объект мыслятся изначально существующими и определенными до и вне какой бы то ни было практической связи между ними, как самостоятельные натуральные сущности. Деятельность, которая практически свяжет субъект и объект, еще только предстоит: чтобы начаться, она должна получить санкцию в исходной ситуации разъединенности субъекта и объекта.

Этот познавательный образ составляет основание всей классической психологии, является источником ее фундаментальных онтологических постулатов («непосредственности» [148], «сообразности» [111; 112], тождества сознания и психики, самотождественности индивида) и методологических принципов.

То, как понимается деятельность в рамках онтологии «изолированного индивида», непосредственно определяется «постулатом сообразности» [111; 112], согласно которому всякая активность субъекта носит индивидуально-адаптивный характер. Если субъект

и объект (строго говоря, индивид и вещь) кладутся в исходное онтологическое представление отдельно и независимо друг от друга, то «сообразность» на втором шаге вводимой в эту сферу деятельности может мыслиться основанной на одном из двух противоположных механизмов.

Первая возможность, реализуемая в когнитивистски ориентированных концепциях, в своем предельном рационалистическом выражении сводится к убеждению, что в основе поступка лежит расчет. И даже эмоциональная транскрипция этой идеи (в основе действия лежит чувство) сохраняет главный когнитивистский тезис: деятельность санкционируется отражением (рациональным или эмоциональным). Отражение предшествует деятельности; субъект и объект связываются сначала идеально проделываемыми субъектом ориентировочными процедурами, которые выявляют значение объекта, и только затем осуществляется деятельность, практически связывающая их. В качестве образца описания всех и всяких поведенческих процессов при этом осознанно или безотчетно используется целенаправленная, произвольная и сознательная деятельность взрослого человека.

Вторая возможность, характерная для рефлексологии и бихевиоризма, наиболее отчетливо воплощена в радикальном бихевиоризме Б. Ф. Скиннера. «Сообразность» поведения объясняется здесь следующим образом. Предполагается существование у субъекта предданных его индивидуальному опыту форм реагирования, которые полностью оформились до и независимо от всякого деятельного соприкосновения со средой, не изменяются в онтогенезе и в этом уже готовом виде только «выбрасываются» организмом в среду. «Сообразность» складывающегося из этих двигательных «выбросов» поведения объясняется не тем, что индивид, раз достигнув в данной ситуации успеха с помощью определенной реакции, действует в подобной ситуации таким же образом, «предвосхищая» получение того же результата. Реакция всегда остается слепой и случайной пробой, нет никаких оснований приписывать ей внутреннюю целеустремленность и опосредованность психическим отражением предметных связей ситуации. Механизм индивидуального приспособления должен мыслиться

по аналогии с приспособлением видовым [243]: реакции подобно мутациям случайно оказываются полезными или вредными для организма, в силу чего изменяется вероятность их возникновения, и поведение приобретает кажущийся целесообразным характер, на деле оставаясь набором слепых проб, изнутри не «просветленных» отражением. Любой субъект здесь мыслится по образцу животного, причем находящегося на достаточно низком эволюционном уровне[2].

Какая же онтология противостоит гносеологической схеме «субъект — объект», онтологизированной в классической психологии? Это онтология «жизненного мира»[3].

Только в рамках этой онтологии можно осмыслить содержание и действительное место в общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева того представления о мотивации, о котором выше шла речь.

Как сама деятельность есть *единица жизни,* так основной конституирующий ее момент — предмет деятельности — есть не что иное, как *единица мира.*

Здесь нужно очень настойчиво подчеркнуть значение фундаментального различения предмета и вещи, которое проводит А. Н. Леонтьев. Мы должны ограничить понятие предмета, пишет он. «Обычно это понятие употребляется в двояком значении — как вещь, стоящая в каком-либо отношении к другим вещам... и в более узком значении — как нечто противостоящее (нем. Gegenstand), сопротивляющееся (лат. objectum), то на что направлен акт (русск. «предмет»), т. е. нечто, к чему относится именно живое существо, как предмет его деятельности — безразлично деятельности внешней или внутренней (например, предмет питания, предмет труда, предмет размышления и т. п.)» [87, с. 39]. Предмет, таким образом, это не просто вещь, лежащая вне жизнен-

[2] В опытах над высокоразвитыми животными последние ставятся в такую экспериментальную ситуацию, где их организм реализует поведенческие закономерности гораздо более низкого порядка, чем те, на которые это животное способно.

[3] Здесь может быть выстроен целый синонимический ряд: «витальная онтология», «онтология человеческого бытия» [123, 126], «жизненное пространство», «психологическое пространство» [216] и т.д.

ного круга субъекта, а вещь, уже включенная в бытие, уже ставшая необходимым моментом этого бытия, уже субъективированная самим жизненным процессом до всякого специального идеального (познавательного, ориентировочного, информационного и т. д.) освоения ее.

Для уяснения подлинного теоретического смысла тезиса о том, что действительным мотивом деятельности является предмет, необходимо понять, что обыденная «очевидность» отделенности живого существа от мира не может служить исходным онтологическим положением, ибо мы нигде не находим живое существо до и вне его связанности с миром. Оно изначально вживлено в мир, связано с ним материальной пуповиной своей жизнедеятельности. Этот мир, оставаясь объективным и материальным, не есть, однако, физический мир, т. е. мир, как он предстает перед наукой физикой, изучающей взаимодействие вещей, это — жизненный мир. Жизненный мир и является, собственно говоря, единственным побудителем и источником содержания жизнедеятельности обитающего в нем существа. Такова исходная онтологическая картина. Когда же мы, отправляясь от нее, начинаем построение психологической теории и выделяем (абстрагируем) в качестве «единицы жизни» субъекта отдельную деятельность, то предмет деятельности предстает в рамках этой абстракции не в своей самодостаточности и самодовлении, не вещью, представляющей самое себя, а как «единица», репрезентирующая жизненный мир, и именно в силу этого своего представительства предмет обретает статус мотива. Положить в основу психологической теории утверждение о том, что мотивом деятельности является предмет, — значит исходить из убеждения, что жизнь в конечном счете определяется миром. На этой начальной фазе теоретического конструирования в мотиве еще не дифференцируются конкретные функции (побуждения, направления, смыслообразования), еще не идет речи о различных формах идеальных опосредований, участвующих в инициации и регуляции конкретной деятельности конкретного субъекта, это все появляется «потом», из этого нужно не исходить, к нему нужно приходить, «восходя» от абстрактного к конкретному.

По своему методологическому статусу разбираемое представление о мотиве и является такой абстракцией (точнее, компонентом ее), от которой это «восхождение» совершается.

Каким образом деятельность выводится из онтологии «изолированного индивида», из ситуации разъединенности субъекта и объекта — это мы уже показали. Теперь у нас есть все необходимое, чтобы установить условия выведения понятия деятельности из «витальной» онтологии. Эта задача может быть сформулирована с учетом сказанного выше следующим образом: каковы должны быть условия и характеристики жизненного мира, чтобы абстрактная идея деятельности как процесса, побуждаемого предметом потребности самим по себе, оказалась выполнимой, т. е. совпала бы с конкретным?[4]

ПОСТРОЕНИЕ ТИПОЛОГИИ «ЖИЗНЕННЫХ МИРОВ»

Первым и основным из подобных условий является простота жизненного мира. Жизнь, в принципе, может состоять из многих, связанных между собой деятельностей. Но вполне можно помыслить такое существо, которое обладает одной-единственной потребностью, одним-единственным отношением к миру. *Внутренний мир* такого существа будет *прост,* вся его жизнь будет состоять из одной деятельности.

Для такого существа никакое знание о динамике собственной потребности не является необходимым. Дело в том, что потребность в силу своей единственности будет принципиально ненасыщаемой [ср.: 63], и потому всегда актуально напряженной: ведь процесс удовлетворения потребности совпадает у такого существа с жизнью, а стало быть, он психологически незавершим (хотя фактически он может, конечно, прекратиться; эта остановка, однако, была бы равнозначна смерти).

Если далее предположить, что *внешний мир* нашего гипотетического существа *легок,* т. е. состоит из

[4] Для пояснения скажем, что если бы речь шла, например, о законе свободного падения тела, то нужно было бы обнаружить те физические условия, при которых этот закон в точности описывал бы эмпирические случаи падения тел.

одного-единственного предмета (точнее, предметного качества), образующего как бы «питательный бульон», в точности соответствующий по составу потребности индивида и находящийся в непосредственном контакте с ним, обволакивающий его, то для того, чтобы такой предмет мог побуждать и направлять деятельность субъекта, не требуется никакого идеального отображения его в психическом образе.

Простота внутреннего мира и легкость внешнего и составляют те искомые условия-характеристики жизненного мира, при которых обсуждаемая формула непосредственного побуждения деятельности предметом потребности самим по себе реализуется буквально[5].

Дополнив характеристики простоты и легкости жизненного мира противоположными возможностями его сложности и трудности, получим две категориальные оппозиции, одна из которых (простой — сложный) относится к внутреннему миру, а другая (легкий — трудный) — к внешнему. Эти противопостав-

[5] Стоит специально обратить внимание на то, что мы попадаем здесь в область предельного мышления, или мышления о пределах: здесь каждое слово — деятельность, предмет, потребность — превращается чуть ли не в свою противоположность. Действительно, ведь предмет — это всегда нечто оформленное, дифференцированное, плотное, а в описанном гипотетическом мире он превращается в недифференцированную среду-стихию. Деятельность — это всегда некоторое преодоление, усилие и т. п., а здесь она сведена к потреблению, чуть ли не к простому «перевариванию» предмета потребности. Да и о какой потребности, казалось бы, может идти речь, когда никакой нужды, в чем-либо, живя в таком простом и легком мире существо не испытывает? Но если так, если понятия утрачивают в этой области представимость и устойчивость, если не существует эмпирически наблюдаемых вещей и процессов, которые бы понятия, находясь в этом предельном состоянии, отражали, то, может быть, научному мышлению не стоит и заниматься этой областью? Для физики, математики и философии такого вопроса давным давно не существует. Но и для теоретической психологии он должен быть разрешен отрицательно: как в математике, для того чтобы описать поведение функции в некотором интервале, необходимо установить ее пределы, вне зависимости от того, определена ли функция в предельных точках или нет (напр. 1/x при x=0), так и в психологии мы не сможем понять конечное и эмпирически наблюдаемое, не умея мыслить предельное. В каком-то смысле «всякое истинное познание природы, — по словам Ф. Энгельса, — есть познание вечного, бесконечного...» [3, с. 549].

ления задают типологию жизненных миров, или форм жизни, которая и была целью нашего рассуждения.

Структура этой типологии такова: «жизненный мир» является предметом типологического анализа. Он имеет внешний и внутренний аспекты, обозначенные соответственно как внешний и внутренний мир. Внешний мир может быть легким либо трудным. Внутренний — простым или сложным. Пересечение этих категорий и задает четыре возможных состояния, или типа «жизненного мира».

Типология жизненных миров

Прежде чем приступить к последовательной интерпретации полученной типологии, следует подробнее обсудить задающие ее категории.

В психологии понятию «жизненного мира», пожалуй, наибольшее внимание уделил К. Левин. Неудивительно, что для К. Левина, которого так волновала задача превращения психологии в строгую науку, построенную на принципах «галилеевского» мышления [215], главным в проблеме психологического мира[6] был вопрос о его замкнутости, т.е. наличии принципиальной возможности объяснения по его законам любой ситуации C_0 из предшествующей ситуации C_0 (или, наоборот, предсказания из всякой C_0 последующей C_1). Психологический мир, по мнению К. Левина, в отличие от физического, этому критерию не удовлетворяет и, следовательно, является открытым. Другими словами, физический мир не имеет ничего внешнего: зная совокупную мировую ситуа-

[6] Для Левина понятия «психологический мир», «жизненное пространство» и «жизненный мир» являются синонимами.

цию и все физические мировые законы, можно было бы (считает Левин) предсказать все дальнейшие изменения в этом мире, ибо ничто извне не может вмешаться в ход физических процессов, раз и навсегда определенных физическими законами. За пределами же данного психологического мира существует внешняя, трансгредиентная ему реальность, которая воздействует на него, вмешиваясь в ход психологических процессов, и потому невозможно ни полное объяснение, ни предсказание событий психологического мира на основании одних только психологических законов. Если человек пишет письмо приятелю, приводит пример К. Левин [216], и вдруг открывается дверь и входит сам этот приятель, то эти две следующие друг за другом психологические ситуации стоят в таком отношении, что из первой ситуации невозможно ни предсказать, ни объяснить вторую.

Но не делает ли открытость психологического мира неправомерным само это понятие: что это за самостоятельный мир, если на события внутри него оказывают влияние процессы, не подчиняющиеся законам этого мира? Спасти понятие можно только, если удастся концептуализировать представление о мире, который динамически не замкнут, но внутри которого тем не менее имеет место строгий детерминизм [216]. К. Левин, решая эту проблему, предлагает математические представления, демонстрирующие возможность таких замкнутых областей, которые тем не менее подобно открытым областям соприкасаются с внешним пространством всеми своими точками как периферическими, так и центральными: это, например, плоскость, помещенная в 3-мерное пространство и вообще n-мерное пространство, помещенное в пространство (n+1)-мерное [там же].

Думается, однако, что такой формализм не решает проблемы, поставленной перед собой К. Левиным, — показать возможность строгого детерминизма внутри динамически незамкнутого психологического мира. Гораздо более важным является содержательное обсуждение вопроса. Надо сказать, что в рассуждении К. Левина о физическом мире кроется одна существенная неточность, которая состоит в неявном отождествлении (несмотря на то что опасность его

К. Левин сознает) физического мира со всей природой в целом, с мировым универсумом. Возникновение таких, несомненно обладающих физическим существованием вещей, как, например, архитектурные сооружения или биоценозы, хотя и может быть в принципе описано с точки зрения происходивших при этом физических процессов, но не может быть ни объяснено, ни тем более предсказано как необходимое на основании даже абсолютного знания всех физических законов, несмотря на то что последние при этом возникновении ни разу не нарушались. Следовательно, по введенному Левиным критерию «предсказуемости» и физический мир, точно так же, как и психологический, является открытым, т. е. и на него возможно влияние из нефизических сфер, закономерности которых не ухватываются физическим взглядом на реальность. Но это влияние осуществляется тем не менее целиком на физической почве, сообразно физическим законам, исключительно физическими средствами, и в этом смысле ввиду отсутствия в физическом мире нефизических чуждых ему явлений и событий он является замкнутым, не имеющим внешнего, ибо всякий иной, лишенный физического воплощения процесс не оставляет в нем следа, никак не затрагивает его.

И точно так же одновременно открытым и закрытым (замкнутым) является жизненный, психологический мир данного существа. Психологический мир не знает ничего непсихологического, в нем не может появиться ничего инородного, относящегося к иной природе. Однако в психологическом мире время от времени обнаруживаются особые феномены (в первую очередь трудность и боль), которые хотя и являются полностью психологическими и принадлежат исключительно жизненной реальности, но в то же время как бы кивают в сторону чего-то непсихологического, источником чего данный жизненный мир быть не мог. Через эти феномены в психологический мир заглядывает нечто трансцендентное ему, нечто «оттуда», но заглядывает оно уже в маске чего-то психологического, уже, так сказать, приняв психологическое гражданство, в ранге жизненного факта. И только своей тыльной стороной эти феномены настойчиво намекают на существование какого-то

самостоятельного, инородного бытия, не подчиняющегося законам данного жизненного мира.

Подобного рода феномены могут быть условно названы «пограничными», они конституируют *внешний аспект* жизненного мира, как бы закладывают основу, на которой вырастает реалистичное восприятие внешней действительности.

Другими словами, феномены трудности и боли вносят в изначально гомогенный психологический мир дифференциацию внутреннего и внешнего, точнее, внутри психологического мира в феноменах трудности и боли проступает внешнее.

Нужно специально отметить, что, говоря о трудности внешнего мира, мы будем иметь в виду не только соответствующее переживание*, но и трудность как действительную характеристику мира; но, понятно, не мира самого по себе, не мира до и вне субъекта, а мира, так сказать, «деленного на субъекта», мира, видимого сквозь призму его жизни и деятельности, ибо трудность может быть обнаружена в мире не иначе, как в результате деятельности.

До сих пор мы рассуждали феноменологически, занимая позицию как бы внутри самой жизни и пытаясь увидеть мир ее глазами. Из внешней же позиции «легкости» внешнего аспекта жизненного мира соответствует обеспеченность всех жизненных процессов, непосредственная данность индивиду предметов потребностей, а «трудности» — наличие препятствий их достижению.

Под внутренним аспектом психологического мира (или внутренним миром) подразумевается внутреннее строение жизни, организация, сопряженность и связанность между собой отдельных ее единиц. (При этом мы отвлекаемся от органических, натуральных, чисто биологических связей между потребностями.) Хотя *простота* внутреннего мира ради удобства рассуждения вводилась нами и в дальнейшем в основном будет рассматриваться как его односоставность, фактически такой жизненный мир, состоящий из одной «единицы», является лишь одним из вариантов простого во внутреннем отношении мира. Простота, строго говоря, должна пониматься как отсутствие надорганической структурированности и сопряженности отдельных моментов жизни. Даже при наличии

у субъекта многих отношений с миром его внутренний мир может оставаться простым в случае аморфной слитости его отношений в одно субъективно нерасчлененное единство либо в случае непроницаемой отделенности их друг от друга, когда каждое отдельное отношение реализуется субъектом так, как если бы оно было единственным. В первом случае психологический мир представляет собой целое без частей, во втором — части без целого.

Таковы категории, задающие полученные нами типы «жизненных миров». Теперь следует остановиться на одной особенности описания самих этих типов. Каждый жизненный мир будет характеризоваться в первую очередь с точки зрения его пространственно-временной организации, т. е. описываться в терминах хронотопа. При этом в соответствии с различением внешнего и внутреннего аспектов жизненного мира мы будем отдельно описывать внешнее и внутреннее время-пространство, или, что то же, внешний и внутренний аспект целостного времени-пространства (хронотопа) жизненного мира.

Введем несколько условных терминов описания хронотопа. Внешний аспект хронотопа мы будем характеризовать отсутствием или наличием *«протяженности»,* которая заключается в *пространственной удаленности* (предметов потребности) и *временной длительности,* необходимой для преодоления удаленности. Ясно, что «протяженность» — это проекция на хронотопическую плоскость понятия «трудности», или, иначе, выражение этого понятия на языке пространственно-временных категорий: в самом деле, в чем бы ни состояли фактические затруднения жизни — в отдаленности благ, их сокрытости или наличии препятствий, — все они едины в том, что означают отсутствие возможности непосредственного удовлетворения потребностей, требуют от субъекта усилий по их преодолению, и поэтому они могут быть сведены к одной условной мере — «протяженности».

Внутренний аспект хронотопа описывает структурированность внутреннего мира, т. е. наличие или отсутствие *«сопряженности»,* под которой мы понимаем субъективную объединенность различных единиц жизни. «Сопряженность» выражается в *связанности* между собой различных жизненных отношений

во внутреннем пространстве. Во временном аспекте «сопряженность» означает наличие субъективных связей *последовательности* между реализацией отдельных отношений. Итак, протяженность, удаленность, длительность, сопряженность, связанность, последовательность — все это термины языка, с помощью которого мы будем описывать хронотоп жизненного мира.

И наконец, последнее предварительное замечание. Как следует относиться к каждому из типов предложенной типологии? И как — к отображению определенного среза психологической реальности, и как к определенной схеме понимания. Схемы эти с формальной стороны строго определены задающими их категориями и в то же время могут быть наполнены живым феноменологическим содержанием. В сочетании то и другое делает их незаменимыми средствами психологического мышления. Типы — это как бы живые образцы, которые, сами обладая очевидной феноменологической реальностью, в силу своей категориальной определенности могут эффективно использоваться в познавательной функции.

§ 2. ТИП 1. ВНЕШНЕ ЛЕГКИЙ И ВНУТРЕННЕ ПРОСТОЙ ЖИЗНЕННЫЙ МИР

ОПИСАНИЕ МИРА

Простой во внутреннем и легкий во внешнем отношении мир можно изобразить, представив существо, обладающее единственной потребностью и живущее в условиях непосредственной данности соответствующего ей предмета. Если, например, предположить, что единственная его потребность — пищевая, то абсолютная легкость внешнего мира достигалась бы тем, что из него в организм поступали бы уже полностью готовые питательные вещества. Между потребностью и ее предметом нет в этом случае никакого расстояния, никакой деятельности, они как бы непосредственно соприкасаются.

Внешний мир совершенно приспособлен к жизни данного существа, в нем нет ни излишков, ни недостатков относительно этой жизни, он может быть «по-

делен» на нее без остатка. Внешний мир соприроден жизненному, и поэтому в психологическом мире отсутствуют те особые феномены, которые своим наличием проявляли бы внутри психологического мира присутствие мира внешнего и служили бы, таким образом, своеобразной границей между ними. Жизненный мир и мир внешний оказываются влитыми друг в друга, так что наблюдатель, смотревший бы со стороны субъекта, не заметил бы мира и счел бы это существо субстанциальным, т. е. не требующим для своего существования другого существа [141], а наблюдатель со стороны мира не выделил бы из него само это существо, он видел бы, выражаясь словами В. И. Вернадского [41], просто «живое вещество».

Жизнь субъекта в таком мире — это обнаженное бытие, бытие, полностью открытое в мир. Строго говоря, субъектом это существо не может быть названо, ибо оно не отправляет никакой деятельности и не отличает тем самым себя от объекта. Его существование — это окутанная бесконечным благом чистая культура жизнедеятельности, первичная жизненность, витальность.

Опишем теперь пространственно-временную структуру этого мира, его хронотоп. Легкость с пространственно-временной точки зрения должна быть истолкована как отсутствие «протяженности» внешнего аспекта мира, т. е. как отсутствие в нем пространственной удаленности и временной длительности. Феноменологически первое может быть выражено как неизвестность существу, живущему в этом мире, никаких «там», в сведенности всего внешнего пространства к точке «тут», а второе — в сведенности всего внешнего времени к «сейчас». Итак, феноменологическая структура, соответствующая внешнему аспекту описываемого бытия, может быть обозначена выражением «тут-и-сейчас»[7].

[7] Отличие «тут-и-сейчас» от «здесь-и-теперь», о которой речь пойдет ниже, состоит в полной замкнутости структуры «тут-и-сейчас» на самое себя. Это, так сказать, «здешнее» и «теперешнее» в квадрате, лишенное не только положительной связи с другими точками пространства-времени, но даже всякого противостояния им.

Простота внутреннего мира, или отсутствие «сопряженности» между отдельными моментами внутреннего пространства-времени, т. е. между реализацией отдельных отношений субъекта, делает последние абсолютно отстраненными друг от друга, полностью обособленными, совершенно слепыми по отношению друг к другу. Другими словами, простота (и тем более односоставность как один из ее вариантов) внутреннего мира означает безоглядную погруженность в реализуемое жизненное отношение, прикованность к данному месту хронотопа. При этом во внутреннем пространстве отсутствует субъективная связанность его областей, что феноменологически выражается в упразднении (точнее даже неизвестности) всякого «то», «другое» в пользу довлеющего себе «это» (или «одно»). Что касается внутреннего времени, то оно лишено связей последовательности, т. е. отношений «сначала — потом» между отдельными его моментами. Момент, лежащий вне всякой ориентации на «до» и «после», т. е. лишенный будущего и прошлого, не знает собственного конца, своей временной границы и изнутри, феноменологически воспринимается, следовательно, как «всегда» (или «вечно»). Таким образом, внутренний аспект данного существования есть бытие «это-всегда» (или «вечно-одно»), т. е. наличное состояние воспринимается здесь как то, что было, есть и будет, если пользоваться временными категориями, недоступными этому миру.

Итак, мы описали легкий и простой мир в его бытийных характеристиках, теперь необходимо описать соответствующее этому бытию мироощущение[8].

[8] Описание жизненного мира ведется в нескольких опосредующих друг друга слоях. Первый фиксирует бытийные условия жизни — есть блага или нет, есть ли связи между различными деятельностями или нет. Второй, хронотопический, переводит эти условия на язык пространственно-временных определений. Он опосредует переход от чисто бытийного описания к феноменологическому, на котором выясняется пространственно-временная структуризация сознания, соответствующего такому бытию. Здесь не ставится вопрос о том, каков был бы его горизонт, если бы оно было возможно. Этот уровень описывает сознание, но не все, а лишь бытийный его слой. Феноменологический уровень — дособытийный, он задает лишь условия движения дифференцированных психологических процессов, которые описываются на последнем, психологическом, уровне.

Конечно, несколько странно слышать о мироощущении живущего здесь существа, поскольку мы, строго говоря, не можем приписать ему даже психики. Она ему не нужна: не нужны ощущения, ибо в орбиту его жизни не попадают абиотические свойства объектов [87], не нужно внимание — нет альтернатив для сосредоточения, не нужна память — в силу указанного отсутствия члененности времени на прошлое и настоящее и т. д. И тем не менее психологическое описание этой жизни не может быть полным, если не будет раскрыто имманентное ей мироощущение. Это не значит, что мы будем описывать фикцию, мироощущение этой жизни обладает такой же реальностью, как и она сама, только оно растворено в жизни, не выделено из нее[9].

Легко понять, что наше экспериментальное существо ведет психологически абсолютно пассивное, страдательное существование: ни внешняя, ни внутренняя деятельность в легком и простом мире не нужны.

Страдательность же, вообще говоря, существенно различается в зависимости от того, относится ли она к событиям настоящим, предстоящим или прошедшим: сейчас происходящие события претерпеваются, причем если они положительны (благи), то претерпевание в эмоциональном аспекте предстает как удовольствие, а если отрицательны — как неудовольствие; предстоящее событие ожидается (если оно положительно, то с надеждой, если отрицательно — со страхом), отошедшие в прошлое события вспоминаются (положительные — с умилением или сожалением, отрицательные — с раскаянием или облегчением).

Описываемому же психологическому миру, как было показано, присущ такой хронотоп, в котором не существует перспективы и ретроспективы, прошлое и будущее как бы вдавлены в настоящее, точнее, еще не вычленены из него. Поэтому страдательность в отношении прошлых и будущих событий здесь

[9] Отношение к проблеме реальности такого рода образования сравнимо с отношением к реальности существования эстетики, этики, науки, искусства, вообще дифференцированных современных форм культуры в античности (см., например, [34]).

редуцирована к одному лишь претерпеванию, и, следовательно, все потенциальное многообразие эмоционального освоения времени сводится к удовольствию-неудовольствию. **Принцип удовольствия,** таким образом, — центральный принцип мироощущения, присущего легкой и простой жизни; удовольствие было бы целью и высшей ценностью такой жизни, если бы она строилась и осуществлялась сознательно.

Важно указать на масштабы эмоций удовольствия и неудовольствия в этом психологическом мире. Внутренний аспект данного хронотопа, как мы видели, феноменологически может быть выражен как «это всегда», т. е. всякое наличное положение дел заполняет собой всю возможную пространственно-временную перспективу. Поэтому если допустить любую, самую незначительную с внешней точки зрения депривацию потребности этого существа, то в плане мироощущения ей будет соответствовать неудовольствие, покрывающее собой все, не имеющее конца, некий вселенский ужас, по существу смерть, ибо как удовольствие здесь — принцип и признак жизни, так неудовольствие (мгновенно, в силу временно-пространственных характеристик мира раздувающееся до панического ужаса) — принцип и признак смерти.

ПРОТОТИП

Прототипом рассмотренного существования и мироощущения может служить пребывание плода в чреве матери, младенческое существование (впрочем, уже в меньшей степени) и соответствующее им инфантильное мироощущение. Основания считать «инфантилизм» прототипом проанализированного нами типа вполне понятны — это легкость и простота «инфантильного» бытия: мир индивида в этом периоде развития сам обеспечивает его жизненные процессы, не требуя от него специальной активности ни по добыванию жизненных благ, ни по координации и сопряжению своих отношений.

Эти условия утробного и младенческого существования, через которые неминуемо проходит каждый ребенок, порождают соответствующее мироощущение, которое образует инфантильную основу сознания — некоторый остающийся в человеке, неустранимый,

первичный и базовый слой, на протяжении всей жизни подспудно влияющий на его сознание и поведение.

Естественно, это мироощущение во время утробного периода развития еще растворено в жизнедеятельности, вживлено в бытие. Другими словами, оно является психологически непроявленным, и поэтому в себе оно лишено всякой эмоциональности. Тем не менее это мироощущение может быть описано как блаженная, безоблачная удовлетворенность по сравнению с ожидающими его возмущениями со стороны трудности и сложности. Это «плюс», который еще не знает себя в качестве «плюса», и лишь в будущем столкновении с «минусом» он выявит свою исконную положительность. Описываемую таким образом устремленность человека вспять, к «изнеживающей сладости детства» К. Юнг связывал с символикой возрождения [166][10].

Строго говоря, уже окончание пренатальной стадии знаменуется прорывами в оболочке этого блаженного состояния удовлетворенности. В первую очередь это, конечно, травма рождения, но и в дальнейшем ребенок страдает от временных ущемлений той или иной потребности, ибо жизненные обстоятельства и реальные свойства времени делают невозможным

[10] В связи с этим может быть генетически осмыслен как имеющий инфантильное происхождение такой очень важный феномен человеческой жизни, как леность, столь мало изученный в психологии и столь часто становящийся (в чистом ли виде или в виде несамостоятельности, пассивности, инертности, нерешительности и т. д.) настоящей жизненной проблемой и предметом воспитательных или даже психотерапевтических воздействий. Инфантильное происхождение лени, в общем-то достаточно очевидное, можно удостоверить тем, что она парализует действия, т. е. приводит человека в состояние инфантильной бездеятельности, закономерно присущей легкому и простому миру, а также тем фактором, что наиболее острые приступы лени переживаются многими людьми во время утреннего вставания с постели, т. е. такого действия, когда необходимо выйти из состояния, соматически и символически приближенного (за счет температурной микросреды, так называемой «позы эмбриона», сновидений и, может быть, других факторов) к утробному.

По аналогии с введенным В. А. Петровским в категориальный аппарат психологической теории деятельности понятием надситуативной активности [111] можно определить лень как надситуативную пассивность.

одномоментное удовлетворение всех его потребностей.

Любая частная боль (или неудовлетворенность) младенца, если ее причина тут же не устраняется, очень быстро дорастает до размеров всеобъемлющего ужаса (насколько об этом можно догадываться по крику, движениям и мимике), застилая весь горизонт мироощущения ребенка в силу того, что он «не знает» пространственных и временных границ боли, «не знает»[11], что она когда-то кончится, потому что в его мире нет еще этого «когда-то». Такое распространение боли с частного органа или отношения на все отношения чрезвычайно показательно для внутреннего строения психологического мира самого раннего детства: отдельные отношения здесь еще психологически недифференцированы, они образуют некоторую аморфную массу, так что события в одной ее части без труда распространяются на все другие.

ГЕДОНИСТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

Именно прорыв оболочки легкого и простого существования и является тем пунктом, отправляясь от которого можно подойти к главному предмету наших теоретических рассуждений — переживанию, соответствующему описываемому жизненному миру. Дело в том, что в самом этом мире, взятом во всей чистоте его характеристик, переживанию вообще нет места, поскольку легкость и простота мира, т. е. обеспеченность и непротиворечивость всех жизненных процессов, исключают возможность возникновения ситуаций, требующих переживания. Более того, даже когда бытие вдруг перестает по тем или иным причинам быть легким и простым, и, значит, такие ситуации возникают, существо, «воспитанное» легким и простым миром, не способно к переживанию в точном смысле слова. Не способно потому, что переживание необходимо предполагает осуществление иде-

[11] Стоит ли специально подчеркивать, что это вовсе не рациональное, не сознательное знание? Это знание тем же «умом», которым осуществляется «умозаключение» Гельмгольца, если угодно, установочное знание.

альных преобразований психологического мира (хотя и не исчерпывается ими), а это существо лишено какой бы то ни было идеальности. Его жизнедеятельность полностью материальна, телесна, причем существенно внутрителесна, поскольку его внешние контакты ограничены не требующим от него активности поступлением необходимых и выведением ненужных веществ. Это существо, не будучи способным «ответить» на возникшую критическую ситуацию ни внешней практической деятельностью, ни идеальными преобразованиями психологического мира, отвечает на нее единственно доступными ему средствами — внутрителесными изменениями. Последним соответствует понятие физиологических стрессовых реакций.

Значит ли это, что вообще не существует переживания, соответствующего легкому и простому миру, подчиняющегося законам этого мира, т. е. в первую очередь принципу удовольствия? Нет, не значит, потому что инфантильный мир с его закономерностями не исчезает с исчезновением породивших его бытийных условий, и эти закономерности могут детерминировать процессы переживания.

Если живое существо прошло сквозь опыт простого и легкого существования, то порождаемые таким бытием феноменологические структуры не лежат мертвым грузом в прошедшей истории жизни данного существа, а являются действенными, вечно живыми и неустранимыми пластами его сознания, причем слоями бытийными в том смысле, что они стремятся определить собой все сознание, направить его процессы в отвечающее этим структурам русло, вообще навязать сознанию свой режим функционирования. Такая живучесть инфантилизма (будем так именовать это бытийно-сознательное образование, порождаемое простым и легким миром) объясняется очень просто: во всяком жизненном мире, сколь бы «труден» и «сложен» он ни был, сколь ни были бы мощны и многообразны развитые в нем деятельные и психические «органы» и соответствующие им феноменологические структуры, остается неустранимой первичная витальность, атомом которой является акт непосредственного удовлетворения любой потребности.

Акты потребления, их смысл, значение и роль могут быть радикально преобразованы в новом жизнен-

ном мире по сравнению с тем, чем они были для легкого и простого мира (а были они самой жизнью), но в них всегда остается первичный витальный остаток, живущий по закону удовольствия. Таким образом, инфантильные структуры, инфантильное сознание не только наследуются субъектом от бывшей легкой и простой жизни, но они вновь и вновь продуцируются удовлетворением всякой потребности.

В сложном и/или трудном мире субъектом может быть выработано соответствующее этому мироустройству сознание, но оно не упраздняет инфантильного сознания, не становится на его место, а надстраивается над ним, вступая с ним в сложные, а иногда антагонистические отношения.

Само инфантильное сознание существует в новой жизни в форме установки. Это значит, что оно психологически активно, представляет собой не мертвый пласт воспоминаний, а тягу к легкому и простому существованию, радикал которой, с одной стороны (со стороны внешнего аспекта хронотопа легкого и простого мира), представляет собой стремление к «здесь-и-теперь»[12] удовлетворению потребности, т. е. к удовлетворению, не требующему усилий и ожидания, а с другой стороны (соответствующей феноменологической структуре «вечно одно») — стремление к такой полноте обладания предметом потребности (и даже растворенности в нем и отождествленности с ним), что реализуемое при этом жизненное отношение застилало бы собой весь горизонт психологического мира, создавая впечатление своей единственности и заставляя, таким образом, забыть о других отношениях и возможных последствиях для них этого удовлетворения.

Таков радикал инфантильной установки. Для того чтобы определить характер детерминируемых ею процессов переживания, нужно обратить внимание на одну особенность этой установки. Будучи инерцией

[12] Мы характеризуем инфантильную установку с помощью терминов «здесь-и-теперь» вместо «тут-и-сейчас», примененных для описания хронотопа первого типа, для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет о действии этой установки в пределах других хронотопов, которым известна «протяженность» пространства и времени.

прежнего легкого и простого существования [ср.: 14], инфантильная установка требует восстановления утраченного вместе с этим существованием блаженного мироощущения. Подчеркнем: именно мироощущения, и не самого легкого и простого бытия. Почему? Дело в том, что, как уже говорилось, в легкой и простой первожизни все будущие дифференциации (отдельная деятельность, инфантильная установка, противопоставленность внешнего и внутреннего и т. д.) существуют в нерасчлененном единстве и лишь потенциально. Это касается и эмоционального мироощущения. Первичное эмоционально нейтральное состояние первожизни в момент прорыва легкого и простого существования приобретает мощный положительный эмоциональный заряд по контрасту с вызванным этим прорывом паническим ужасом. Рождающаяся в этот критический момент инфантильная установка «узнает» два состояния бытия — «легкое» и «трудное» (точнее, «невозможное») не в их чистоте, а в форме соответствующих им мироощущений «блаженства» и «ужаса», «узнает» и одновременно впитывает в себя эту аффективную полярность, как бы проставляющую вектор доминирующей устремленности на феноменологической карте мира. Изнутри инфантильной установки, как и вообще из феноменологической позиции, бытие и сознание неразличимы, легкое и простое бытие она идентифицирует только по «блаженному» мироощущению, и потому инфантильная установка тяготит психику жаждой этого мироощущения, не заботясь о том, адекватно ли оно, если возникло, обеспечено ли оно бытийно, гарантировано ли на какой-то отрезок времени, ценой каких последствий оно достигнуто и т. д. Все эти вопросы даже не встают перед инфантильным сознанием.

Вполне понятно, что детерминируемый этой установкой тип переживания составляют такие преобразующие психологический мир процессы, которые по своим целям направлены на достижение положительных и избегание отрицательных эмоциональных состояний, а по характеру своего осуществления являются нереалистическими, подчиняющимися сиюминутным импульсам, не учитывающими внешних и внутренних зависимостей жизни.

Проделанный в первой главе анализ дает основания утверждать, что этому теоретически выведенному типу переживания соответствуют процессы психологической защиты. Разумеется, полного совпадения теоретически описанного типа переживания, со всем полем известных защитных механизмов в принципе быть не может, во-первых, потому, что это описание слишком абстрактно, чтобы учесть эмпирическое многообразие способов психологической защиты, во-вторых, потому, что совокупность выделяемых защитных механизмов представляет собой скорее «кучу», чем некоторое организованное целое. Этот класс психических процессов не имеет, как мы уже видели, четких, однозначных и общепринятых разграничений ни внутри себя, ни с другими категориями психических процессов. И все-таки существует преобладающее представление о психологической защите, в котором главной целью ее признается достижение максимальной степени эмоционального благополучия, возможного в данных условиях [208], а сама она считается следствием когнитивного и эмоционального инфантилизма [190; 191], что и дает возможность именно процессы психологической защиты считать прототипом выведенного теоретически типа переживания, подчиняющегося закономерностям легкого и простого жизненного мира.

Описанный тип переживания как результат осуществленного к настоящему моменту теоретического движения хотя и может быть соотнесен с определенной эмпирией, все же еще достаточно абстрактен. Это, разумеется, означает не то, что не было проделано обещанного «восхождения от абстрактного к конкретному», а лишь то, что это «восхождение» не закончено. Мы подошли к такой точке на одной из линий «восхождения», где «энергия» положенных в основу движения абстракций исчерпала себя, так что дальнейшее движение в этом направлении требует «инъекции» опытного, эмпирического знания, но, заметим, не всякого, а достигнутого под руководством уже полученных абстракций. Однако это задача особого исследования.

§ 3. ТИП 2. ВНЕШНЕ ТРУДНЫЙ И ВНУТРЕННЕ ПРОСТОЙ ЖИЗНЕННЫЙ МИР

ОПИСАНИЕ МИРА

Отличие этого жизненного мира от предыдущего состоит в его трудности. Жизненные блага не даны здесь непосредственно, внешнее пространство насыщено преградами, помехами, сопротивлением вещей, которые препятствуют удовлетворению потребности. Для того чтобы жизнь могла осуществляться, необходимо преодолевать эти трудности. Причем главное состоит в том, что преодоления требует не только трудность, т. е. психологическое «лицо» препятствия, но и его материальное тело, обладающее своей безразличной к целям и потребностям данной жизни определенностью, что создает необходимость построения некоторого «органа», способного трансцендировать наличные границы жизненного мира. Такой «орган» должен, с одной стороны, обладать телесностью, чтобы говорить с миром-в-себе на его, мира, «вещном» языке, а с другой — он должен быть изнутри проникнут чувствительностью, изнутри являться жизнью. Всякое трансцендирование им жизненного мира, преодоление его границ, по сути дела, является расширением границ жизни на ранее абсолютно внешние ей области.

Если от феноменологического описания перейти к описанию конкретно-научному, то этим органом окажется не что иное, как «живое движение» [28, с. 178]. Оно, как блестяще показал Н. А. Бернштейн [27], чтобы быть успешным, должно каждый раз заново строиться в каждой новой поведенческой ситуации по той причине, что последняя всегда уникальна с точки зрения своих динамических характеристик.

Внешнюю, видимую целесообразность поведения живых существ в условиях предметно и динамически уникальной ситуации невозможно объяснить иначе, чем предположив наличие у них психического отражения[13]. Внешняя предметная деятельность и

[13] Непонимание этой уникальности, отвлечение от нее, теоретическое и экспериментальное, характерное для всех бихевиори-

психика,

стских систем от Э. Торндайка до Б. Скиннера, дает ход идее атомарности поведения, принятие которой ведет к тому, что видимая целесообразность поведения объясняется либо вероятностно — увеличением частоты подкрепленных слепых двигательных атомов, либо на противоположном, когнитивистском полюсе (у Э. Толмена [251], например) — внешним по отношению к движению, предваряющим его и от самого практического движения независящим ориентированием по карте среды. В действительности, как это впервые в истории изучения поведения конкретно-научно было доказано Н. А. Бернштейном, движение необходимо анализировать как изнутри детерминируемое целью, «просветленное» психическим отражением и само являющееся необходимым моментом этого отражения.

точнее опосредованная психикой деятельность, и есть основное новообразование, необходимое для жизни в трудном мире по сравнению с легким[14].

Каков хронотоп анализируемого жизненного мира? Трудность внешнего мира в терминах хронотопа означает наличие «протяженности», т. е. пространственной удаленности (жизненных благ) и временной длительности (необходимой для устранения удаленности). Феноменологически это выражается в появлении во внешнем аспекте хронотопа наряду с «тут» и «сейчас» новых измерений «там» и «тогда». Иначе говоря, внешний аспект психологического мира развертывается в некоторую пространственно-временную перспективу.

Что касается внутреннего строения данного жизненного мира, то он по-прежнему остается простым. Это отсутствие внутренней расчлененности и структурированности жизни в пространственно-временной развертке означает отсутствие «сопряженности», т. е. отсутствие пространственной связанности, «соположенности» жизненных единиц (=отношений=отдельных деятельностей) и связей временной последовательности между ними. Речь идет об отсутствии вну-

[14] Именно этот категориальный образ перехода из легкого мира в трудный стоит за попытками теоретического выведения эволюционной необходимости возникновения психического отражения. Так, в гипотезе А. Н. Леонтьева и А. В. Запорожца [87, с. 49—50] возникновение психики рассматривается в контексте перехода из «среды-стихии», где блага даны в чисто биотическом виде, в предметно оформленный мир, где биологически существенные свойства вещей скрыты за их абиотической оболочкой. Различие между двумя типами ситуаций — где психика не нужна и где она необходима, — рассматриваемое П. Я. Гальпериным [52, с. 103—104], также соответствует разнице трудного и легкого миров.

треннего «стола», пользуясь метафорой М. Фуко [159], на который субъект мог бы «положить» перед собой свои отношения к миру, сопоставить их, соизмерить, сравнить, спланировать последовательность их реализации и т. д. и без которого его внутренний мир остается «простым» даже при множественности и объективной перекрещенности его жизненных отношений. Впрочем, для удобства рассуждений мы будем в основном пользоваться таким воображаемым жизненным миром, простота которого обеспечивается его предполагаемой односоставностью, т. е. наличием у субъекта всего одной потребности, одного жизненного отношения. Феноменологически «простота» выражается как «это всегда».

Опишем теперь жизнедеятельность и мироощущение существа, живущего в трудном и простом мире. Деятельности присуща в этом мире неуклонная устремленность к предмету потребности. Эта деятельность не подвержена никаким отвлечениям, уводящим в сторону искушениям и соблазнам, субъект не знает сомнений, колебаний, чувства вины и мук совести — одним словом, простота внутреннего мира освобождает деятельность от всевозможных внутренних препятствий и ограничений. Ей известны только одни препятствия — внешние.

Каждое достижение предмета потребности таково, будто дело идет о жизни и смерти. Так, оно, впрочем, психологически и есть, поскольку здесь имеет место отождествление одного отношения (деятельности) со всей жизнью в целом. Поэтому деятельность этого существа с эмоционально-энергетической стороны отличается истовостью — ради достижения заветного предмета оно готово идти на любые усилия, на карту ставится все, любое средство заранее оправдано, любой риск осмыслен, любая жертва приемлема.

Вследствие простоты внутреннего мира предельно упрощено и смысловое строение образа внешнего мира. Он выполнен в двух красках: каждый предмет осмысляется только с точки зрения его полезности или вредности для удовлетворения всегда напряженной единственной потребности субъекта.

Другое дело — технический, операциональный аспект деятельности и соответствующее ему отраже-

ние. На него приходится основная проблематичность жизни этого существа. Мир озадачивает его только с этой внешней, технической стороны: «Как сделать, как достичь?» — вот основной вопрос, который стоит перед ним. А основное общее правило решения этой постоянно возобновляющейся жизненной задачи заключается в необходимости адекватно отражать реальность, чтобы сообразно реальности строить свою деятельность. Такая сообразность является в трудном мире необходимым условием существования и сохранения жизни. Подчинение диктату **реальности** становится здесь законом жизни, ее принципом.

Какие отношения существуют между принципом реальности и принципом удовольствия? Эти отношения были хорошо известны в философии и психологии задолго до появления психоанализа[15]. З. Фрейд дал лишь терминологию и с подкупающей простотой описал их: «Мы знаем, что принцип удовлетворения присущ первичному способу работы психического аппарата и что для самосохранения организма среди трудностей внешнего мира он с самого начала оказывается непригодным и даже в высокой степени опасным. Под влиянием стремления организма к самосохранению этот принцип сменяется «принципом реальности», который, не оставляя конечной цели — достижения удовольствия, откладывает возможности удовлетворения и временно терпит неудовольствие на длинном окольном пути к удовольствию» [157, с. 39]. «Все это чрезвычайно элементарно, — писали Л. С. Выготский и А. Р. Лурия [51, с. 6], — азбучно, и, по-видимому, принадлежит к числу неопровержимых самоочевидных истин».

И тем не менее здесь есть целый ряд невыясненных вопросов. Первый из них касается степени самостоятельности принципа реальности. У З. Фрейда нет однозначного ответа на этот вопрос. В одних случаях он называл принцип реальности модифика-

[15] З. Фрейд, кстати сказать, вовсе не претендовал в этом пункте своей теории на приоритет и оригинальность. Он указывал, что еще в 1873 г. «такой глубокий исследователь, как Г. Фехнер, выдвинул теорию удовольствия и неудовольствия, в существенном совпадающую с той, к которой приводит нас психоаналитическая работа» [157, с. 37].

цией принципа удовольствия, в других говорил, что принцип реальности сменяет принцип удовольствия. Но в целом принцип реальности, по Фрейду, оказывается стоящим на службе у принципа удовольствия и не имеющим самостоятельности. В каком-то смысле это верно, особенно когда под реальностью понимается вещная, материальная реальность, однако нам кажется, акцент должен быть несколько смещен. Раз следование реальности настолько важно, что без него жизнь в трудном мире была бы попросту невозможна, то нужно предположить, что из ситуативных необходимостей подчиняться реальности рано или поздно рождается надситуативная, глобальная установка следовать ей. Конечно, генетически она развивается под влиянием принципа удовольствия и из него, точнее из соответствующих ему жизненных процессов черпает свою энергию, но в конце концов эта пуповина рвется, и в жизненном мире появляется новый, не сводимый ни к чему закон — принцип реальности.

Второй, более важный, вопрос связан с выяснением внутренних психологических механизмов реализации принципа реальности. Этот принцип имеет как бы две стороны. Одна из них обращена вовне и состоит в стремлении обеспечить адекватность внешних движений предметным условиям ситуации за счет точности психического отражения этих условий, вторая — внутрь. Ее назначение состоит в том, чтобы сдерживать возможные эмоциональные взрывы, которые в силу «простоты» внутреннего мира постоянно грозят при неудовлетворенности потребности разрушить своим хаотическим всплеском всю сложно организованную деятельность, направленную на отсроченное удовлетворение потребности. Другими словами, внутренняя ипостась реалистической установки — это механизм терпения.

Рассмотрим хронотопическую структуру этого механизма. Выше мы установили, что хронотоп описываемого сейчас типа феноменологически может быть выражен как «это всегда» во внутреннем аспекте и «здесь-и-там», «теперь-и-тогда» — во внешнем.

Что это значит? «Это всегда» означает, что «сознание» субъекта всегда занято одним и тем же:

на одно («это»), составляющее предмет его потребности, устремлены все его чувства, ожидания, активность. Он весь в этом отношении к миру, ничто другое для него не существует. И точно так же, как данное отношение заполняет собой весь пространственный горизонт его жизни, оно покрывает собой и всю временную перспективу ее («всегда»).

Что касается внешнего аспекта хронотопа, то он существенно изменен по сравнению с первым типом. Предмет потребности может быть как в непосредственном соприкосновении с субъектом, точнее, с органом потребления, так и на некотором отдалении. То же касается и временного аспекта. Но главное для характеристики трудного жизненного мира, в отличие от легкого, не само по себе такое объективное обстояние, а то, что оно «схватывается» субъектом с помощью особых психических форм (феноменологически означенных «там» и «тогда»). За их счет психологический мир субъекта расширен и дифференцирован по сравнению с инфантильным. Если в последнем никаких субъективных «там» и «тогда» быть не могло, а объективная отсроченность и удаленность блага оборачивалась внутренней эмоциональной катастрофой, то теперь эти феноменологические «там» и «тогда» могут аккумулировать в себе всю эту эмоциональную энергию, делая возможным контроль над нею. Доводя дело до предельной рационалистической упрощенности, можно сказать, что неудовлетворенность единственной потребности, из которой состоит вся жизнь субъекта, ощущалась бы им как конец этой жизни, как смерть, если бы он не знал, что где-то «там» есть источник жизни и когда-нибудь «тогда» он может быть достигнут.

То же самое можно выразить иначе, на языке эмоциональных категорий: если при отсутствии форм «там» и «тогда» эмоциональное состояние субъекта колеблется между «блаженством» и «ужасом», то при появлении подобных форм психологического пространства-времени происходит дифференциация этих исходных аффектов, такая, что производные эмоции включают в свою структуру указанные формы психологически дальнего и будущего, а именно появляются «беспечность» (в ситуации еще не достигнутого, но уже наверняка гарантированного

будущего блага), «отчаяние» (в ситуации несомненного предстоящего неуспеха), «надежда» и «страх» (в промежуточных случаях) [61].

Появление пространственно-временной психологической «протяженности» («там» и «тогда») является обогащением структуры психологического мира, которая теперь становится способной в своих узлах схватывать ранее бывшее недоступным будущее и дальнее. И самое главное заключается в том, что это будущее и дальнее являются не абсолютными, физикальными формами, которые фиксируются из внеположенной происходящим процессам точки, из внепространственной и вневременной позиции абсолютного наблюдателя, проецирующего реальные процессы на идеальные пространственно-временные координаты, т. е. это будущее не есть то, чего сейчас нет, но что потом будет, а наоборот: феноменологическое будущее («тогда», «потом»), психологически представленное в надежде, страхе и пр., парадоксальным образом есть то, что есть сейчас, но чего потом не будет. Надежда получить тот предмет есть форма психологического будущего, актуально присутствующая уже «сейчас» и исчезающая как таковая при реальном достижении этого предмета.

Из этих рассуждений вытекает одно фундаментальное положение: оказывается, что предметная деятельность предполагает наличие определенных внутренних, феноменологических условий, без которых она была бы вообще психологически невозможна. Эти условия образуют сложный и подвижный комплекс механизмов, который условно можно назвать «терпением» и который феноменологически структурирован тем, что было выше описано в терминах хронотопа трудного и простого мира, а психологически (в эмоциональном аспекте) — состояниями «отчаяния», «страха», «надежды» и «беспечности». Иначе говоря, внешняя предметная деятельность была бы психологически невозможной, если бы одновременно с ней, как бы на ее изнанке, не разворачивалась внутренняя работа по удержанию панических аффектов, порождаемых неудовлетворенной потребностью. Работа эта осуществляется за счет частичной субъективной актуализации объективно отсутствующего блага (в форме надежды, например), напол-

няющей осмысленностью промежуток между «теперь» и «тогда».

Все это поддерживает нас в убеждении, что принцип реальности — самостоятельная психологическая установка, обладающая собственными внутренними механизмами, а не просто модификация принципа удовольствия.

ПРОТОТИП

Укажем на известные прототипы простого и трудного жизненного мира. Ясно, что к ним относятся все случаи, при которых одна какая-нибудь потребность (мотив, отношение) получает резко доминирующее положение и интенсивность, несопоставимую с силой других потребностей. Когда содержание доминирующего мотива составляет какая-либо абстрактная идея, убеждение, мы имеем дело с фанатиком, когда его содержание образует некоторая конкретная идея или даже конкретная вещь или действие — с маньяком[16].

Анализ психологии фанатизма обнаруживает выделенные нами при описании типа характеристики: неистовость поведения, готовность для достижения цели жертвовать всем и использовать любые средства в сочетании с узостью и ограниченностью восприятия мира.

Прототипом описанного типа являются не только личности определенного склада, но и определенные состояния личности, более или менее длительные, нормальные или патологические. К ним относятся, скажем, хорошо известные в психопатологии «импульсивные влечения», которые «представляют собой остро возникающие побуждения и стремления, подчиняющие себе все сознание и поведение больного. С их возникновением подавляются все остальные желания и представления» [115, с. 63].

[16] Это слово употреблено не в том психиатрическом значении термина «мания», которое используется при характеристике аффективных расстройств (например, эйфорическая мания, гневливая мания, спутанная мания), а скорее в обыденном смысле и в том, которое применяется в психиатрии для описания расстройств влечений (например, клептомания, пиромания, дромомания и т. д.).

Область психопатологии дает наиболее близкие к данному теоретическому типу примеры, но из этого, конечно, не следует, что патологическим является всякое состояние, соответствующее второму типу психологического мира. В такое состояние сознание попадает всякий раз, когда актуализировался мотив, требующий от субъекта некоторой деятельности, причем этому мотиву (по крайней мере в данный момент) нет альтернатив.

РЕАЛИСТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

Общей основой всех процессов переживания, свойственных данному типу жизни, является механизм терпения. Собственно говоря, он сам может считаться процессом переживания. Пример этого механизма показывает, что жизнь, стоит ей выйти из первичного состояния блаженной удовлетворенности, не может существовать без процессов переживания, изнутри скрепляющих ее, подверженную в трудном и сложном мире различным деструктивным и дезинтегрирующим воздействиям.

Прежде чем перейти к обсуждению вырастающих на основе терпения механизмов, необходимо сопоставить само терпение как механизм, подчиняющийся принципу реальности, с психологической защитой, действующей по принципу удовольствия. С одной стороны, они прямо противоположны, с другой — сходятся в одной точке. И защита, и терпение актуализируют в сознании ощущение наличия блага, объективно отсутствующего, но модальные формы этих актуализаций существенно различаются. Защита признает благо бытийно наличным, терпение — наличным в долженствовании; защита создает иллюзию решенности проблемы (или ее отсутствия: «виноград зелен»), терпение формирует сознание решаемости ее; защита отказывается видеть необеспеченность бытием достигнутых положительных (или устраненных отрицательных) эмоциональных состояний, терпение ориентировано на устранение этой необеспеченности; защита, наконец, берет за основу неприкосновенность субъективности (желания, самооценки, чувства безопасности и т. д.) и искажает в угоду ей образ реальности, терпение берет за основу

реальность, сдерживая и подстраивая к ней субъективность.

Механизм терпения действует только в определенных границах (которые определяются развитостью самого этого механизма); за пределами их, когда возникает ситуация невозможности (фрустрация), требуются другие механизмы переживания[17].

В самом общем плане можно выделить два варианта «реалистического» переживания.

Первый осуществляется в пределах пострадавшего жизненного отношения. В простейшем, «нулевом» случае этого варианта переживания выход из критической ситуации, субъективно кажущейся неразрешимой, происходит не за счет самостоятельного психологического процесса, а в результате нежданного объективного разрешения ситуации (успех после неудачи, согласие после отказа, находка утраченного, разрешение запрещенного и т. п.). Это именно «нулевой» случай, ибо критическая ситуация здесь не психологически преодолевается, а фактически устраняется благодаря эффективному поведению [ср.: 26, с. 49] или удачному стечению обстоятельств.

Более сложные случаи, требующие от субъекта специальной активности, осуществляются посредством компенсации утраченных (или сниженных) способностей или замещения. Какова бы ни была конкретная техника процесса, он исходит из факта актуальной невозможности в данных конкретных условиях удовлетворить потребность и из необходимости ее так или иначе удовлетворить. Поскольку речь идет о реалистическом переживании, не прибегающем к самообманам, единственный мыслимый выход состоит в таком преобразовании психологической ситуации, которое все-таки, несмотря ни на что, делает возможным реальное удовлетворение фрустрированной потребности. Возможность разрешения жизнен-

[17] Можно возразить: если терпение идет в ход до возникновения ситуации невозможности, оно, по определению, не является переживанием. Дело объясняется тем, что терпение — это механизм, развивающийся для совладания не с фрустрацией, а со стрессом, т. е. с критической ситуацией, соответствующей легкому и простому жизненному миру. И именно благодаря терпению ситуация, бывшая критической для существа этого жизненного мира, не является таковой для субъекта трудной жизни.

ных апорий в этом психологическом мире обеспечивается двумя обстоятельствами — способностью субъекта откладывать удовлетворение потребности на какой-то срок, за который могут быть развиты компенсаторные способности, найдены или созданы обходные пути к цели, а также способностью удовольствоваться любой заменой предмета потребности, лишь бы она вообще могла ее удовлетворить. Последнее обстоятельство особенно важно; субъект простого и трудного мира не знает предмета (или лица) в его индивидуальной определенности и ценностной уникальности, он ценит в нем только одно качество — удовлетворять его, субъекта, потребность. Узкая и интенсивная направленность субъекта в мир создает иллюзию чрезвычайной фиксированности его на данном предмете, буквально «сращенности» с ним, однако стоит этому предмету исчезнуть, создав ситуацию невозможности, чтобы эта иллюзорность быстро себя обнаружила: субъект с простым внутренним миром в принципе согласен на любой суррогат, хоть в какой-то мере удовлетворяющий его потребность, потому что все качества предмета, не имеющие непосредственного отношения к удовлетворяемой им потребности, никак его психологически не затрагивают и в расчет не принимаются.

Второй вариант «реалистического» переживания отличается от первого тем, что между нарушенным отношением, вызвавшим необходимость в переживании, и тем последующим жизненным отношением, нормальная реализация которого знаменует об успехе переживания, нет субъективных связей преемственности. Хотя объективно, с позиции внешнего наблюдателя, идентифицирующего субъекта до и после переживания по его «индивидным» качествам, новая деятельность может представляться замещением старой, фрустрированной деятельности, компенсацией ее, внутренне они никак не связаны между собой. Это «компенсация», которая ничего не меняет в предыдущем, нарушенном жизненном отношении, никак само это нарушение не компенсирует, это замещение без замещения, ибо новая деятельность решает свои собственные проблемы. А поскольку каждая актуально осуществляемая деятельность в условиях простоты внутреннего мира субъективно составляет всю

жизнь, то переживание это, по сути дела, представляет собой скачок от одной жизни (неудавшейся, да так и оставленной) к другой, психологически вновь начинаемой, хотя и строящейся на старом психобиологическом «индивидном» материале. Этот вариант переживания может быть проиллюстрирован примером Душечки, прожившей на страницах чеховского рассказа как бы несколько самостоятельных, не связанных одна с другой жизней.

Итак, законом переживания второго типа является принцип реальности. Это переживание исходит из того, что реальность «не слышит убеждений», что она непреодолима, борьба с ней бесполезна и, значит, нужно принять ее такой, какова она есть, покориться, смириться и внутри заданных ею границ и пределов попытаться добиться возможности удовлетворения потребностей.

Из проанализированных нами в первой главе видов переживания ни один однозначно не соответствует «реалистическому» переживанию, но, несколько огрубляя дело, можно сказать, что эмпирическим прототипом его является совладающее поведение. При противопоставлении совладающего поведения защите, кроме прямого подчеркивания его реалистичности, обычно указывают на рациональность этих процессов, на их способность учитывать целостный характер ситуации, т. е. на те качества, которые сводимы к реалистичности. Кроме того, образцом, по которому мыслится совладающее поведение, является приспособление, а приспособление по понятию есть процесс, целью которого является прилаживание, подгонка внутреннего, субъективного к внешнему, объективному, к реальности.

§ 4. ТИП 3. ВНУТРЕННЕ СЛОЖНЫЙ И ВНЕШНЕ ЛЕГКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ МИР

ОПИСАНИЕ МИРА

По сравнению с первым, исходным типом, в третьем произошло изменение только одного категориального измерения — простота внутреннего мира сменилась его сложностью, что, однако, ведет к ра-

дикальному преобразованию всего жизненного мира.

Остановимся еще раз на понятии сложности. Мы уже говорили, что даже при наличии у субъекта многих жизненных отношений его внутренний мир может оставаться простым. Точнее, нужно различать объективную и субъективную сложность мира. Первая порождается тем, что каковы бы ни были намерения субъекта, его внешнее поведение всегда дает начало всевозможным социальным, биологическим и физическим процессам, которые могут сказаться на том или ином его жизненном отношении. Другими словами, всякое действие субъекта, «реализующее одну его деятельность, одно отношение, объективно оказывается реализующим и какое-то другое его отношение» [89, с. 211]. Однако вполне мыслим такой психологический мир, который, несмотря на то, что входящие в него отношения объективно пересекаются между собой в поле реального действования, остается внутренне, субъективно простым. При этом субъект в каждый данный момент психологически находится только в одном жизненном отношении, его сознание никогда не бывает «между» отношениями, в точке, откуда видно и «то», и «другое», и их взаимозависимость, а поведение осуществляется так, как если бы других отношений, кроме реализуемого, не существовало, причем не потому, что субъект решил не обращать на них внимания, пренебречь или пожертвовать ими, а просто потому, что он не способен одновременно психологически удерживать более одного отношения. Словом, объективная перекрещенность отношений, т. е. объективная сложность жизненного мира сама по себе не создает еще его внутренней, субъективной сложности. Последняя является результатом особой внутренней деятельности по связыванию и согласованию отношений.

Сложность внутреннего мира — это «сопряженность» отдельных его единиц (жизненных отношений) во внутреннем пространстве и времени. С пространственной стороны «сопряженность» выступает как симультанная связанность отношений, т. е. способность держать в поле внутреннего зрения одновременно два и более отношений, что феноменологически выражается как «то и это». Во временном аспекте «сопряженность» означает наличие между отно-

шениями связей последовательности «сначала-потом». В симультанном срезе субъективно соприсутствуют многие жизненные отношения («то и это»), развертывающие сукцессивно в некотором порядке — сначала одно, потом другое.

Какова жизнедеятельность живущего в таком мире существа?

Внешний мир абсолютно легко проницаем для действия, и это делает невозможным никакое конечное действие, как невозможно конечное движение в абсолютной пустоте, оно либо отсутствует, либо бесконечно по причине отсутствия сил сопротивления. А действие только и осмыслено как конечное, тяготеющее к завершающей его цели, т. е. легкость мира упраздняет действия (и, естественно, их операционный состав), а равным образом и то непсихологическое «расстояние», которое в реальных условиях обычно отделяет прямой результат действия от его значимых последствий, непосредственно затрагивающих мотивы (потребности) субъекта[18].

Таким образом, легкость внешнего мира устраняет все процессы, протекающие между инициативой субъекта и реализацией мотива. Вся внутренняя структура деятельности и ее телесность при этом как бы выпадают, каждая отдельная деятельность, стоит ей только начаться, осуществляется мгновенно («тут-и-сейчас»).

Эта жизнь лишена ситуативности. В психологическом мире нет ситуаций с их «подвернувшимися случаями», благоприятными (или неблагоприятными) обстоятельствами, с их временными ограничениями, порождающими «заботы», т. е. действия, долженствующие быть выполненными в определенный срок, с их возможностью компромиссов между содержательно непримиримыми тенденциями, с их неожиданными «вдруг» и «как раз» и т. д. А раз нет ситуаций,

[18] Так, например, между написанием пьесы как непосредственным результатом сложного действия и славой как возможным мотивом и итогом такого труда лежат многочисленные процессы (чтения, принятия к постановке, режиссуры, игры актеров, признания и публичного выражения признания), субъектом которых автор как таковой являться не может, но которые тем не менее входят в эту его мотивированную стремлением к славе деятельность в качестве существенной ее части.

значит, нет той, казалось бы, поверхностной и случайной, — но тем не менее активно участвующей в самых интимных (в том числе мотивационных) процессах конкретной, подвижной, не поддающейся полному рациональному учету и расчету материальности, составляющей само тело обыденной жизни.

Существование инициативного субъекта в легком жизненном мире настолько же полно «волшебных» возможностей, насколько и опасно; это обнаженное бытие, оно лишено оболочек трудности и амортизирующей вязкости внешнего мира. В этом мире нельзя «одуматься» и «опомниться», ибо всякая инициатива мгновенно достигает своих самых отдаленных последствий.

Теперь зададимся вопросом, какие ограничения накладывает легкость мира на все многообразие конкретных форм сложности жизни? Понятно, что в легком жизненном мире нет эмпирических, ситуативных, «телесных» пересечений между отдельными отношениями. Однако, далее, имеются две теоретические возможности, неравноценные для дальнейшего хода нашего мысленного экспериментирования.

Первая из них состоит в том, чтобы принять утверждение о материальной непересекаемости отношений как объективное. В этом случае, поскольку каждому жизненному отношению предстоит мгновенная беспрепятственная реализация и поскольку ему не грозит столкнуться в поле материального действования с другим отношением, то ни одному из этих отношений не будет отказано в осуществлении. Мир абсолютно прозрачен для субъекта, результат всегда равен цели, воплощение — замыслу. Жизнь лишена всякой внутренней альтернативности и напряженности, единственное, что требуется от субъекта для реализации жизни, — это назначить очередность исполнения его деятельностей. Причем осуществление такой работы по назначению очередности приходится приписывать субъекту лишь потому, что речь идет о внутренне сложном жизненном мире, и, значит, его отношения хоть где-то должны встречаться — если не в ходе осуществления, то хотя бы в точке принятия решения. Внутренней же необходимости в такой встрече их в сознании и в назначении очередности их исполнения в подобном жизненном мире нет, по-

скольку при абсолютной легкости мира его «пропускная способность» не ограничена и позволяет всем жизненным отношениям реализоваться в один и тот же объективный момент, лишь субъективно раздробленный по числу этих отношений. Итак, мы видим, что абстракции, заключающиеся в первой из разбираемых возможностей, настолько сильны, что перестают быть плодотворными.

Вторая теоретическая возможность состоит в том, чтобы предположить, что внешний мир, несмотря на свою легкость, сохраняет в себе связи обычного мира, и поэтому хотя он и исполняет мгновенно всякую инициативу субъекта, но подчиняется не только ей одной, но и объективным связям и закономерностям, так что результат никогда не бывает равен замыслу и выходит за пределы одного отношения, в рамках которого возникла данная инициатива. Другими словами, в глубинах легкого мира осуществляются все те телесные, материальные жизненные связи, которые имели бы место и в плотном, трудном жизненном мире, но (и это очень важно для спецификации сложного и легкого мира) все эти реальные пересечения во временно-пространственной протяженности своего осуществления отсутствуют в деятельности и сознании субъекта легкой и сложной жизни.

Итак, ситуативно-эмпирические, объективные связи и пересечения отношений происходят как бы за занавесом данного жизненного мира, вне его, поставляя внутрь только результаты таких столкновений. На сцене же этого психологического мира отдельные жизненные отношения сталкиваются только в своей ценностной чистоте, в своем самом остром сущностном виде, сталкиваются, образно говоря, не телами соответствующих деятельностей, а их душами — мотивами-ценностями.

Небезразличность отношений друг к другу, их связанность и взаимозависимость создают необходимость в особой внутренней деятельности по соизмерению их, сопоставлению, взвешиванию их ценностей, соподчинению и т. д. Эта внутренняя деятельность есть не что иное, как сознание.

Подобно тому как трудность мира порождает необходимость в психике, так сложность его требует появления сознания. Психика — это «орган», призван-

ный участвовать в решении внешних проблем, а в сложном и легком мире основная проблематичность жизни — внутренняя. Психика обслуживает внешнее предметное ситуативное действие, а в этом мире в силу легкости таковое отсутствует. В нем главные акты жизнедеятельности те, которые в обычном мире осуществляются до конкретного ситуативного действия и после него. Что это за акты?

Первый из них — выбор. Если вся жизнедеятельность в легком и сложном мире, по существу, сведена к сознанию, то сознание, в свою очередь, наполовину сведено к выбору. Каждый выбор здесь трагичен, поскольку решает дилемму между мотивами. Трагизм в том, что субъект стоит перед задачей, с одной стороны, жизненно важной, а с другой — логически неразрешимой. Раз задача выбора стала перед ним, ее нельзя не решать, а решить ее невозможно. Почему? Во-первых, потому, что каждая альтернатива является в данном случае жизненным отношением или мотивом, словом, тем, что не случайно, как конкретное средство или способ действия, а органически и необходимо входит в данную форму жизни и от положительной реализации чего можно, следовательно, отказаться только ценой дезинтеграции или даже полного распада этой формы[19]; а во-вторых, потому, что для предпочтения одного отношения (или мотива) другому нет и не может быть рационально убедительного основания. Последнее возможно только там, где есть общая мера вещей, а ведь отдельные жизненные отношения и мотивы принципиально разнородны, у них нет ничего общего, кроме того внешнего их содержанию обстоятельства, что они принадлежат одному субъекту. Сознание, таким образом, вынуждено решать парадоксальные с логической точки зрения задачи, сопоставлять несопоставимое, соизмерять не имеющее общей меры.

Подлинный выбор, чистая культура выбора — это лишенный достаточного рационального основания,

[19] Дезинтеграция сложившейся формы жизни отнюдь не всегда событие отрицательное, например с точки зрения нравственного совершенствования, но психологически она всегда тяжела, поскольку существует (как мы уже говорили со ссылкой на теоретические идеи А. Г. Асмолова) мощная инерция, стремящаяся сохранить наличную форму жизни.

рискованный, не вытекающий из прошлого и настоящего акт, действие, не имеющее точки опоры.

Разумеется, таково лишь предельное выражение выбора. В конкретной действительности психологическая ситуация выбора всегда насыщена многочисленными «аргументами» «за» и «против». Это и ситуативные соблазны, и искушения, и ходячие представления о моральности и нормальности поведения, и универсальные императивы, и «исторические» образцы и социальные нормы поведения. Но выбор тем более приближается к своей сущности, чем меньше человек перекладывает груз ответственности за него на все эти перечисленные «подсказки» или уже готовые решения. Все они в подлинном выборе должны быть не более чем ответом в конце задачника, который нельзя взять готовым — к нему нужно прийти решением самой задачи.

Главная проблематичность и устремленность внутренне сложной жизни состоит в том, чтобы избавиться от мучительной необходимости постоянных выборов, выработать психологический «орган» овладения сложностью, который обладал бы мерой измерения значимости мотивов и способностью скреплять жизненные отношения в целостность индивидуальной жизни. Этот «орган» не что иное, как ценностное сознание, ибо ценность — единственная мера сопоставления мотивов. **Принцип ценности** есть, следовательно, высший принцип сложного и легкого жизненного мира.

Ценностное сознание связано с выбором сложно и неоднозначно. Однако в качестве отправного пункта обсуждения этого вопроса можно взять простейшее рационалистическое представление: сознание, обладающее некоторой системой ценностей, в ситуации выбора подводит альтернативы под одно ценностное основание, в результате каждая альтернатива получает свою оценку, и та из них, которая оценена выше, избирается сознанием. Именно так, казалось бы, и должно быть в действительности. Но мы прекрасно знаем, что действительность реальных выборов очень часто расходится с этой схемой. Одна из причин этого расхождения состоит в отсутствии у субъекта ясного сознательного представления о своих конкурирующих мотивах. Однако опыт показы-

вает, что даже при наличии такового из того, что субъектом в ситуации выбора было признано ценностное преимущество одного из мотивов, вовсе не следует с необходимостью, что он будет реально выбран. Чем можно объяснить это нелепое с рациональной точки зрения отсутствие однозначной зависимости между оценкой и выбором?

В первую очередь тем, что ценности не обладают сами по себе побудительной энергией и силой и потому не способны прямо заставить подчиниться себе мотивы.

Однако, с другой стороны, ценность обладает способностью порождать эмоции, например, в случае, когда тот или иной выбор явно противоречит ей. А это означает, что ценность (в рамках теоретико-деятельностного подхода) должна быть подведена под категорию мотива, ибо эмоции релевантны отдельной деятельности, отражают ход реализации ею некоторого мотива [86; 87; 88].

Выходит, что, с одной стороны, ценности не обладают побудительностью, а с другой — должны быть признаны мотивами. Дело объясняется тем, что в теории деятельности выделяются различные виды мотивов. Можно предположить, что в ходе развития личности ценности претерпевают определенную эволюцию, изменяясь не только по содержанию, но и по своему мотивационному статусу, по месту и роли в структуре жизнедеятельности. На первых порах ценности существуют только в виде эмоциональных последствий их поведенческого нарушения или, наоборот, утверждения (первые чувства вины и гордости). Затем ценности обретают форму «знаемых» мотивов, потом мотивов смыслообразующих и, наконец, мотивов одновременно и смыслообразующих и реально действующих. При этом ценность на каждом этапе обогащается новым мотивационным качеством, не утрачивая предыдущих.

Это не следует понимать так, что ценности и есть, собственно говоря, мотивы или некоторый род мотивов и ничего больше. Полностью отождествить ценности и мотивы значило бы заведомо отказаться от возможного обогащения схемы теории деятельности еще одной категорией. Характеристика эволюции ценностей на языке мотивов — просто средство по-

казать, как могут измениться их (ценностей) отношения с поведением. Иначе говоря, то содержание сознания (и жизни), которое составляет ценность, может выполнять функции мотива, т. е. смыслообразовывать, направлять и побуждать воображаемое[20] или реальное поведение, но отсюда, разумеется, не следует, что в рамках психологии ценность следует свести к мотиву. В отличие от мотива, который всегда, будучи моим, твоим или его мотивом, обособляет индивидуальный жизненный мир, ценность есть то, что, напротив, приобщает индивида к некоторой надындивидуальной общности и целостности[21].

Хотя ценность как некое содержание сознания не обладает изначально энергией, по мере внутреннего развития личности она может заимствовать ее у реально действующих мотивов, так что в конце концов она из содержания сознания становится содержанием жизни и сама получает силу реального мотива. Ценность — это не любое знаемое содержание, способное стать мотивом, а только такое, которое, став реальным мотивом, ведет к росту и совершенствованию личности. При этом превращении ценности из мотива-заданности в реальную, наличную мотивационную силу происходит трудно объяснимая энергетическая метаморфоза. Став реальным мотивом, ценность вдруг оказывается обладателем такого мощного энергетического потенциала[22], который нельзя отнести за счет всех тех заимствований, которые могли иметь место в ходе ее эволюции. Одно из предположительных объяснений этого факта состоит в том, что при подлинном жизненном обретении ценности происходит подключение к энергиям

[20] Так называемый «знаемый» мотив, по нашему мнению, это не просто известное субъекту содержание, которое может стать реальным мотивом, но пока таковым не является. «Знаемый» мотив — это мотив, реально побуждающий и смыслообразующий воображаемое поведение субъекта, не будь которого не имело бы смысла вообще говорить в данном случае о мотиве.

[21] Но, подчеркнем, не растворяет его в этой общности, а парадоксальным образом индивидуализирует его [ср.: 145, с. 161, 162].

[22] То, что мы именуем здесь энергией, или энергетическим потенциалом, феноменологически проявляется в воодушевленности, бодрости, приподнятости, ощущении прилива сил и связанной с ними радостной осмысленности существования.

той надындивидуальной сущности, с которой эта ценность связывает индивида.

Но каковы бы ни были действительные причины такого энергетического обогащения, нам важно здесь то, что при достижении этого психологического состояния становятся полностью отвечающей реальности та исходная рационалистическая модель отношений между ценностью и выбором, которая приводилась выше. Выбор теряет свою трагическую напряженность, потому что вся жизненная энергия и весь жизненный смысл фиксируются в ценности, и в ее свете становится хорошо видна подлинная направленность того или другого намерения, легко определима его «цена», и властью ценности относительно легко может быть отказано неподходящему намерению. Для человека, проникнутого высшей духовной ценностью, выбор перестает быть животрепещущей проблемой[23], поскольку он уже, так сказать, раз и навсегда выбрал свой жизненный путь, нашел себя, свою главную устремленность, обнаружил источник осмысленности бытия и некую жизненную истину и тем самым как бы предрешил (не в деталях, а в принципе, не со стороны внешней, а с внутренней ценностно-смысловой стороны) все возможные последующие выборы. Ценность внутренне освещает всю жизнь человека, наполняя ее простотой[24] и подлинной свободой — свободой от колебаний и страха[25], свободой творческих возможностей.

Если первый источник несовпадений реальных случаев выбора с исходной рационалистической моделью отношений между ценностью и выбором состоял, как мы видели, в том, что ценность не всегда обладает достаточным мотивационным статусом, то

---

[23] Речь здесь идет именно о непосредственно переживаемом* состоянии живой приобщенности к ценности. Это состояние может, конечно, прерываться, и тогда возникшее сомнение возрождает жизненные колебания, трагичность выборов и т. д.

[24] Это, разумеется, не та «простота», которая характеризует первые два типа типологии, а простота внутренней ясности, о которой в старину говорили: «Простота да чистота — половина спасенья» [60, с. 513].

[25] Один из героев Л. Н. Толстого осознает этот психологический момент так: «...Нет во мне больше прежнего раздирания и я не боюсь уже ничего. Тут уж совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть» («Записки сумасшедшего»).

второй источник этих несовпадений заключается в том, что ценность может также изменяться по параметру известности субъекту, четкости выраженности ее в сознании.

Если вновь прибегнуть к генетической перспективе, окажется, что процесс в этом измерении почти параллелен ранее проведенной линии мотивационных превращений ценности, совпадая с ней в крайних точках.

Первое совпадение происходит в период, когда ценность проявляет себя только в эмоциональной форме и лишь после того, как выбранное ребенком поведение прямо столкнется с социальной оценкой со стороны взрослых (вспомним феномен «горькой конфеты»). Собственно говоря, ценности в это время еще нет, она только зарождается и впервые начинает опознаваться в неспецифической для нее форме, в форме правила поведения в подобных ситуациях (например: «Никогда больше не буду врать»). Но правила бывают разными. В этом виде правил, о котором идет речь, проглядывает возможность будущей ценности, залогом чего является то, что оно формулируется самостоятельно, исходя из собственного, порой горького жизненного опыта, опыта столкновения с ценностным сознанием значимых для ребенка людей. Это первые в онтогенезе правила, идущие не извне, а изнутри, и психологически закрепляемые не в форме обращенных к Другому обещаний, а в форме обращенных к себе обетов.

Это очень тонкий момент в развитии (и воспитании) личности ребенка: оно может пойти по пути положительного ценностного совершенствования, а может пойти и по линии непосредственного социального приспособления. Ведь одно и то же правило, «не лгать», например, может содержать в себе искорку будущей ценности и воспитывать в человеке любовь к Правде, а может мотивироваться страхом разоблачения и наказания.

Одним словом, в первой фазе своего психологического развития ценность как таковая неизвестна сознанию, она замещается здесь двумя связанными между собой формами — эмоцией (вызываемой нарушением некоторого правила поведения, за которым скрывается ценность) и правилом (выдвигаемым, ис-

ходя из эмоционального опыта соприкосновения с ценностным сознанием значимого Другого).

Второе совпадение названных выше генетических линий приходится на точку, в которой ценность обретает свою максимальную энергетическую мощь. Со степенью осознанности ценности в этой точке происходят метаморфозы, родственные тем, которые происходят здесь же в рамках мотивационного измерения эволюции ценности. Достижение высшей фазы психологического развития ценности сопряжено не с постепенным ростом ясности и отчетливости осознания ее содержания и значения, а со своего рода скачком, в результате которого ценность из «видимого», из объекта превращается в то, благодаря чему видится все остальное, — во внутренний смысловой свет.

Между этими двумя крайними точками происходит долгое развитие ценностей, которое особенно интенсивно протекает в периоды значимых для личности выборов и решений. Когда внутренняя ценностная система еще не утвердилась и не прояснилась, каждый выбор — это одновременно существенный момент во внутреннем ценностном строительстве.

Если в начальной точке ценностного развития сознания ценности, как мы видели, появляются на сцене после уже произведенных действий, во время их оценки, а в конечной точке этого развития они предшествуют выбору, сразу определяя его, то понятно, что общее направление изменений, происходящих в ходе этого развития, состоит в том, что ценности вступают в игру все раньше и раньше, сначала вклиниваясь между уже сделанным выбором, но еще не начавшимся действием, а затем, входя в саму «кухню» осуществляющегося выбора.

До сих пор при обсуждении жизнедеятельности, соответствующей легкому и сложному психологическому миру, речь у нас шла в основном об активности *до* внешнего действия. Теперь мы обратимся к активности, которая в обычном жизненном мире осуществляется *после* действия.

Согласно условиям легкого и сложного жизненного мира только субъект успел начать некоторую деятельность, как она уже завершена, уже стали фактом ее результаты и непосредственные эмпирические

воздействия, которые она оказала на другие сферы жизнедеятельности. Субъект стоит перед лицом реально произошедших изменений своего бытия.

Если бы все эти изменения были предучтены им в акте выбора, входили бы в его замысел, то они не представляли бы для него никакой проблемы. Но в том-то и дело, что выбор всегда сомнителен, всегда отчасти рискован, и не только потому, что невозможно заранее учесть всех связей и зависимостей внешней реальности, а и потому, что, по крайней мере до достижения высших ступеней ценностного совершенствования, всегда остается не вполне понятной (а то и вообще непонятной) собственная становящаяся мотивационно-ценностная система и, стало быть, невозможно наперед внутренне прочувствовать подлинное жизненное значение для своей личности даже предвосхищаемых событий до тех пор, пока они реально не войдут в бытие, не столкнутся с мотивами и не вызовут изменения жизненных отношений. Причем в легком жизненном мире речь может идти только о необратимых событиях и последствиях, ибо обратимые изменения жизненных отношений всегда связаны с временными затруднениями, которые здесь устранены предположением легкости внешнего мира. А необратимые изменения не могут быть исправлены даже в легком мире, ибо легкий мир хотя и берет на себя все трудности осуществления деятельности, как бы велики они ни были, но против невозможности он бессилен: эти изменения должны быть пережиты.

ЦЕННОСТНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

Каковы конкретно типы событий, подлежащих переживанию в легком и сложном мире? Это, во-первых, внутренний конфликт. Мы рассматриваем конфликт не просто как противоречие побуждений, а как противоречие, неразрешимое в данном виде. В ситуации конфликта невозможно ни отказаться от реализации противоречащих жизненных отношений, ни выбрать одно из них. Второй тип критической ситуации, мыслимый в обсуждаемом жизненном мире, по видимости напоминает фрустрацию, но точнее его именовать внешним конфликтом. Эта ситуация порождается, например, исчезновением предмета одного из жизненных отношений субъекта. Разумеется,

она фрустрирует соответствующую потребность, но фрустрация как таковая предполагает субъективную определенность стремления и осуществляющуюся активность, наталкивающуюся на преграды и обнаруживающую невозможность реализации этого стремления, а для субъекта легкого и сложного мира критический пункт ситуации исчезновения предмета будет состоять в невозможности выбрать связанную с ним деятельность. Это конфликт между сознанием, для которого еще актуальна соответствующая смысловая установка [14], и бытием, в котором ее реализация уже невозможна.

Критическая ситуация, каков бы ни был ее конкретный характер, делая невозможным выбор, «повреждает» психологическое будущее или даже уничтожает его. А будущее — это, так сказать, «дом» смысла, ибо смысл хотя и вне-временен сам по себе, все же «не индифферентен ко времени» [23, с. 107], воплощается во временной форме, а именно как «смысловое будущее». Смысл, вообще говоря, пограничное образование, в нем сходятся сознание и бытие, идеальное и реальное, жизненные ценности и бытийные возможности их реализации. В отношении к действительности, к реальному смысл воплощается в различных формах смыслового будущего, в отношении же к идеальному, к вневременному он отражает в себе ценностную целостность индивидуальной жизни[26].

В критической ситуации нарушаются одновременно и психологическое будущее, и смысл, и целостность жизни. Между этими нарушениями нет причинно-следственных связей, это различные измерения одного и того же — самой критической ситуации. Возникает разлад всей системы жизни, т. е. системы «сознание — бытие»; сознание не может принять бытие в таком его виде и теряет способность осмыслять и направлять его; бытие, будучи неспособно реализовать устремленности сознания и не находя в сознании адекватных ему форм, выходит из-под контроля сознания, развивает стихийные связи и зависимости, которые еще больше нарушают смыс-

[26] Категория целостности тождественна феноменологической категории смысла [55, с. 433, 481].

ловое соответствие между ним и сознанием. Все это феноменологически выражается в утрате смысла.

Преодоление этого разлада жизни, т. е. переживание в легком и сложном мире, осуществляется за счет ценностно-мотивационных перестроек. Это не значит, что непременно перестраивается сама система ценностей, в общем случае происходит перестройка отношений между нею и бытийным составом жизни.

Существуют два основных подтипа ценностного переживания. Первый из них реализуется, когда субъект не достиг еще высших этапов ценностного совершенствования, и сопровождается большим или меньшим изменением его ценностно-мотивационной системы.

Можно выделить несколько вариантов этого подтипа переживания в зависимости от масштабов этих изменений и от того, происходит ли наряду с мотивационными преобразованиями содержательная перестройка ценностей субъекта или нет.

Первые два из этих вариантов имеют место, когда стала нереализуемой или вступила в конфликт с доминирующими мотивами или ценностями деятельность, хотя и обладающая, быть может, большой привлекательностью для субъекта, но не вносящая значительного вклада в смысл его существования. Ценностное переживание осуществляется за счет «вертикального» [89, с. 212] движения сознания, иерархизирующего сложившуюся ценностно-мотивационную систему: сознание проясняет собственные ценности, отделяет подлинное и главное от содержаний и мотивов, «нелегально», в обход сознательного санкционирования занявших в жизни человека место, не соответствующее их ценностным достоинствам и смыслообразующим потенциям. Далее процесс может идти двояким образом. В одном случае эти содержания и мотивы ценностно дискредитируются, отвергаются сознанием принципиально. В другом, когда сознание не усматривает в них содержательного, идейного противоречия своим основным устремленностям и принципам, эти мотивы просто снижаются по иерархическому рангу, лишаясь своей значимости, что может сознательно выражаться в форме жертвы чем-то менее существенным ради более су-

щественного и ценного. В проекции на временную ось это иерархическое снижение предстает как откладывание (на какой-то срок или навсегда) психологически невозможной в данный момент деятельности.

Разумеется, в реальных жизненных условиях сознательные решения о ценностном отвержении данного мотива или необходимости пожертвовать им для того, чтобы вступить в силу, должны быть подтверждены практически и претворены в жизнь реальными поступками, преодолевающими инерцию этого мотива и закрепляющими ценностно-иерархические перестройки. Однако в обсуждаемом сейчас гипотетическом жизненном мире практическое воплощение результатов работы сознания автоматически обеспечено легкостью этого мира, не составляет в нем отдельной проблемы.

Два следующих варианта первого подтипа ценностного переживания предполагают радикальную перестройку ценностно-мотивационной системы, поскольку переживаемые события делают невозможной реализацию важнейших жизненных отношений, в которых в основном сосредоточен смысл всей жизни человека.

Если эта невозможность является следствием чисто бытийных, не зависящих от субъекта изменений, и его ценности как таковые оказываются не затронутыми (например, смерть любимого человека, болезнь, препятствующая реализации жизненных замыслов), задача ценностного переживания заключается в том, чтобы из сохранных, реализуемых жизненных отношений выбрать и ценностно утвердить такое, которое по своему содержанию в принципе способно стать новым мотивационно-смысловым центром жизни. Однако главная часть работы ценностного переживания состоит, пожалуй, в особых преобразованиях пораженного жизненного отношения.

Превращения, происходящие с ним в процессе ценностного переживания, радикально отличаются от того, что мы наблюдали в реалистическом переживании и в переживании гедонистическом.

П. Жанэ [207] описал случай болезненной реакции девочки на смерть матери: она продолжала ухаживать за матерью, вообще вела себя так, как если

бы ничего не случилось. Это переживание по принципу удовольствия, сохраняющее желаемое субъективное и отрицающее объективное, реальность.

Прямо противоположен конечный результат переживания чеховской Душечкой смерти своего первого, горячо и искренне любимого мужа. Чувство к нему, его образ, все связанное с ним полностью заслоняется новой реальностью, точнее, вообще испаряется из жизни и памяти героини[27].

Иное дело — ценностное переживание. Здесь ставшее невозможным жизненное отношение не сохраняется в неизменном виде в сознании, как при гедонистическом переживании, и не изгоняется из него полностью, как в переживании реалистическом. В ценностном переживании реальность смерти близкого человека не игнорируется, но и не берется в своей голой фактичности, его образ сохраняется в противоположность реалистическому переживанию, но сохраняется в противоположность гедонистическому не галлюцинаторно, не эйдетически, не естественно-психически, а искусственно-сознательно [ср.: 101, с. 135], не памятью-привычкой, а памятью-рассказом [207]. Образ умершего, пронизанный ранее, при его жизни моими мотивациями, заботами, надеждами, опасениями и пр., вообще практическими и существенно временными отношениями, переводится как бы в другой план бытия, оформляется ценностно-идеально, вневременно, в пределе — вечностно. Этот перевод и это оформление носят эстетический и продуктивный характер: работу переживания не может выполнить никакое прагматическое замещение для меня умершего кем-то другим, и не потому, разумеется, что никто не может взять на себя «функции», которые он выполнял в моей жизни, а потому, что он был для меня нужен и важен и помимо этих функций, сам по себе, в его «качественной определенности единственной личности», в его ценностной уникальности, а последнее есть еще при его жизни

[27] Через три месяца после смерти мужа Душечка, Ольга Семеновна, выходит замуж за Пустовалова, управляющего лесным складом, и скоро ей начинает казаться, «что она торгует лесом давным-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес...» А летний театр, с которым была связана вся ее жизнь с первым мужем, теперь оставляет ее вовсе равнодушной: «Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?»

продукт моей эстетической активности [см.: 23, с. 38—39]. «Моя активность продолжается и после смерти другого, — пишет М. М. Бахтин, — и эстетические моменты начинают преобладать в ней (сравнительно с нравственными и практическими): мне предлежит целое его жизни, освобожденное от моментов временного будущего, целей и долженствования. За погребением и памятником следует п а м я т ь. Я имею всю жизнь другого в н е себя, и здесь начинается эстетизация его личности: закрепление и завершение ее в эстетически значимом образе. Из эмоционально-волевой установки поминовения отошедшего существенно рождаются эстетические категории оформления внутреннего человека (да и внешнего), ибо только эта установка по отношению к другому владеет ценностным подходом к временному и уже законченному целому внешней и внутренней жизни человека... Память есть подход с точки зрения ценностной завершенности; в известном смысле память безнадежна, но зато она умеет ценить помимо цели и смысла уже законченную, сплошь наличную жизнь» [23, с. 94—95].

Последний вариант первого подтипа ценностного переживания сходен с только что рассмотренным в том, что требует больших, перестраивающих всю жизнь человека мотивационных изменений, но отличается от него тем, что предполагает также осуществление и радикальных преобразований ценностного содержания его жизни, переделки или даже замены всего ее ценностного строя. Этот вариант переживания требуется тогда, когда вся принятая человеком система ценностей дискредитирует себя опытом своего же воплощения. Жизнь заходит в смысловой тупик, обесценивается, теряет внутреннюю цельность и начинает психологически разлагаться. Задача переживания состоит в отыскании новой ценностной системы, посредством которой можно было бы придать внутреннюю цельность и смысл бытию, осветить его, открыть новые смысловые перспективы. Мы ограничимся пока этими общими утверждениями, поскольку в следующей главе нам представится возможность конкретизировать их, анализируя переживание Родиона Раскольникова. Здесь же укажем только, что результат этого переживания — создание

психологически новой жизни. Однако, в отличие от реалистического переживания, переход к новой жизни состоит тут не в «скачке» от одного содержания жизни к другому, оставляющем первое неизменным, а в ценностном преодолении и преобразовании старой жизни: новая жизнь относится к старой как прощение к обиде.

Ценностное переживание второго подтипа возможно только на высших ступенях развития ценностного сознания. Если до достижения этих ступеней ценность принадлежала личности, была частью, пусть даже важнейшей и неотъемлемой, но все-таки частью ее жизни, и личность могла сказать: «моя ценность», то теперь происходит оборачивание этого отношения — уже личность оказывается частью объемлющей ее ценности, принадлежит ей и именно в этой причащенности ценности, в служении ей находит смысл и оправдание своей жизни.

Переживание событий, подрывающих такое ценностное отношение, отчасти напоминает самые примитивные формы переживания, когда в угоду принципу удовольствия игнорируется реальность, когда от нее всяческими психологическими ухищрениями отгораживаются, стремясь хотя бы на время сохранить иллюзорное ощущение благополучия. Ценностное переживание тоже не в ладах с реальностью, раз ее события и обстоятельства, условия и условности уничтожают воплощение наивысших ценностей, в которых весь смысл и источник пронизанного ими существования. Но если в защитном процессе человек стремится отвернуться от реальности и так, спрятав голову в песок, «уничтожить» ее, то ценностное переживание смотрит реальности в глаза, видит ее ясно и отчетливо, не допуская малейшего самообмана и недооценки сил и неподатливости реальности, но оно в то же время смотрит сквозь реальность, как бы вопрошая: «Да так ли уж реальна реальность? Неужели вот эта видимая, слышимая, чувствуемая данность и есть подлинное бытие, и есть истина? Неужели эта наличность, безразличная к человеческим ценностям, и дает последний, непреодолимый закон жизни, с которым остается только беспрекословно смириться?»

Но если само содержание вопроса выражает «не-

доверие» к реальности, то совершенно невозможно обращаться за ответом на этот вопрос к рассудку, вообще к знанию, ибо знание подчинено именно этой реальности и стремится полностью соответствовать ей. Какова же та способность постижения, которая может разрешить заданный ценностным переживанием вопрос, может отличить истинную жизнь от ложной? Эта способность, состоящая, по словам С. Л. Рубинштейна, в том, чтобы «осмыслить жизнь в большом плане и распознать то, что в ней истинно значимо... есть нечто бесконечно превосходящее всякую ученость... это драгоценное и редкое свойство — мудрость» [123, с. 682].

Именно мудрость дает возможность ценностному переживанию решить главную его задачу, состоящую в том, чтобы человек сохранил верность ценности вопреки «очевидной» абсурдности и безнадежности сопротивления реальности. Каким же образом? Дело в том, что мудрость ориентирована принципиально внутренне, на самоуглубление и самопознание[28], а стало быть, уже одной этой ориентацией она позволяет ценностному переживанию создать такое состояние сознания, в котором становится непосредственно очевидной необоснованность претензий внешней реальности на то, чтобы считаться единственной и подлинной действительностью. Но этого мало. Самоуглублением в ценностном переживании человек достигает не только «ослабления» внешней реальности, но и укрепления своей ценностной позиции. А именно, перед лицом реальности, противоречащей ценности или стремящейся ее уничтожить, самоуглубление направлено на мобилизацию всей мотивационной системы, на приведение человека в состояние готовности пожертвовать ради ценности любым из своих мотивов, самою жизнью.

Каковы бы ни были конкретные формы осуществления такого рода ценностного переживания, все они предполагают полный отказ от эгоцентрической установки, преодоление рассудочного взгляда на мир,

[28] «Достаточно напомнить такие высказывание, как «...мудрец должен быть прежде всего мудрым для себя самого...» и т. п., с одной стороны, и с другой, идею самопознания («познай самого себя»)» [145, с. 157].

идеальный характер мотивации и по своему внутреннему психологическому содержанию являются *подвигом* [ср.: 89, с. 209].

ПРОТОТИП

Нам осталось указать на реальные прототипы внутренне сложного и внешне легкого существования. Их мы находим в сфере нравственного поведения. Как бы ни отличались, друг от друга по содержанию различные нравственные позиции (или этические концепции), с формально-психологической точки зрения все они сходятся в одном: в нравственном выборе не может быть никаких ссылок на обстоятельства, на неудобство, трудность и тягостность осуществления нравственных намерений. От трудности мира, от «материи» предстоящего поступка необходимо отвлечься, не принимать ее в расчет. А это отвлечение — именно та операция, которая в нашем типологическом анализе задает один срез обсуждаемого сейчас жизненного мира — легкость.

Иными словами, существует такой слой, срез или измерение человеческого существования, сфера нравственного поведения, в котором жизнь сводится к сознанию, материя жизнедеятельности — трудность мира — выносится за скобки и человек действует в условиях как бы легкого мира. Именно эта плоскость и была выявлена и рассмотрена с психологической точки зрения в третьем типе нашей типологии.

§ 5. ТИП 4. ВНУТРЕННЕ СЛОЖНЫЙ И ВНЕШНЕ ТРУДНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ МИР

ОПИСАНИЕ МИРА

Хронотоп четвертого типа жизненного мира с первого взгляда представляется суммой внешнего аспекта хронотопа второго типа и внутреннего аспекта третьего, однако в действительности — это скорее результат своего рода «умножения» этих хронотопов, или, точнее, синтеза их в неаддитивную целостность.

То же самое относится и к жизнедеятельности в трудном и сложном мире. Здесь нельзя обойтись те-

ми «органами» (деятельностью, психикой и сознанием), которые развиваются в ответ на трудность и сложность мира. Трудность мира противостоит здесь не отдельной деятельности как во втором типе, а их совокупности и, значит, не может быть преодолена одними только внешними усилиями, даже если они опосредованы адекватным психическим отражением. С другой стороны, сложность жизненного мира не может быть разрешена только внутренне, поскольку она закреплена здесь во внешних предметных формах и связях. Поэтому те психологические приспособления, которые должно выработать существо для полноценной жизни в сложном и трудном мире, не могут просто слагаться из психологических «устройств», которые порождаются жизнью во втором и третьем типах миров.

Основное новообразование, появляющееся у существа такого жизненного мира по сравнению с предыдущими, — это воля. Во втором типе, несмотря на трудный внешний мир, воля не нужна; при простоте внутреннего мира ни до деятельности, ни во время ее нет никакой конкуренции мотивов, и поэтому, каковы бы ни были трудности внешнего мира, субъект неуклонно осуществляет деятельность, соответствующую его единственному мотиву, никаких альтернатив (прекратить деятельность, продолжить ее или заняться чем-то другим) перед ним не встает. Действующий мотив сам, своей собственной мощью удерживает субъекта от отклонений и остановок деятельности, со стороны воли ему не требуется никакой помощи и не грозит никакое насилие. Воли здесь нет. Наркоман может развивать колоссальную активность, направленную на добывание наркотика, преодолевать при этом значительные трудности, однако психологически это безвольное поведение[29].

Не нужна воля и в третьем типе при внутренне сложном, но легком мире. Субъекту достаточно осуществить выбор, принять решение, а его реализация гарантирована легкостью внешнего мира[30].

---

[29] Пример принадлежит А.Н. Леонтьеву.

[30] «Традиционная психология, — писал С. Л. Рубинштейн, — ...выдвигала в качестве ядра волевого акта... «борьбу мотивов» и следующее за ней более или менее мучительное решение. Внутренняя борьба, конфликт со своей собственной, как у Фауста,

Так-

раздвоенной душой и выход из нее в виде внутреннего решения — все, а исполнение этого решения — ничто» [123, с. 513].

же как во втором типе жизненного мира появляется необходимость в деятельности и психике, а в третьем — необходимость в сознании, в анализируемом сейчас типе должно возникнуть образование, которое было бы способно обеспечить в условиях трудного мира реализацию всей совокупности связанных между собой жизненных отношений субъекта. Это и есть воля — психологический «орган», являющийся представителем целостного субъекта, личности в ее собственном психическом аппарате и вообще в жизнедеятельности.

Целостность личности, как она представлена в самосознании — это не наличное, исполненное, но, наоборот, «...вечно предстоящее единство; оно и дано и не дано мне, оно непрестанно завоевывается мною на острие моей активности» [23, с. 110]. Целостность личности одновременно и дана и не дана ей примерно так же, как дано и не дано художнику задуманное произведение: целостность личности — это как бы замысел человека о себе, о своей жизни. И назначение воли как раз и состоит в воплощении этого идеального замысла.

Речь, таким образом, идет о самостроительстве личности, об активном и сознательном созидании человеком самого себя, причем (что очень важно) не только об идеальном проектировании себя, но и о чувственно-практическом воплощении этих проектов и замыслов в условиях трудного и сложного существования, словом, речь идет о жизненном творчестве. **Творчество** и есть высший принцип данного типа жизненного мира.

Конкретное обсуждение проблемы воли непосредственно связано с проблемами борьбы мотивов и выбора. То, какая деятельность будет осуществляться субъектом, во втором типе жизненного мира определяется столкновением мотивов, а в третьем — надситуативным ценностным выбором, но в обоих случаях все окончательно и бесповоротно решается до деятельности. Что касается сложного и трудного мира, то борьба мотивов может здесь разгораться и в ходе самой деятельности, во время ее реализации.

Внутренние колебания особенно легко провоцируются в точках затруднений осуществляющейся деятельности. Если выбор ее был субъективно сомнителен, и только требования ситуации заставили субъекта, несмотря на колебания, избрать одну альтернативу, то в момент затруднения и неудачи возобновляется старая борьба мотивов, и перед субъектом на фоне его нынешних неудач рельефно проступают преимущества отвергнутой альтернативы [ср.: 181].

Но и в тех случаях, когда при санкционировании данной деятельности не было никакой нерешительности, стоит ей натолкнуться на значительные затруднения, как начинают оживать и активизироваться определенные мотивационные процессы. С одной стороны, внутри самого этого жизненного отношения происходит временное снижение, так сказать, эмоциональной интенсивности смысла, что выражается в утрате воодушевления, ощущении усталости, пресыщения, лени и пр. Все это может создать «отрицательное» побуждение — не просто отсутствие желания заниматься данной деятельностью, а интенсивное нежелание ею заниматься. С другой стороны, с этим процессом «отвращения» от деятельности сплетаются, поддерживают его и придают ему определенную позитивную направленность всевозможные желания, порывы и намерения, которые могут быть названы «отвлекающими»[31].

Таким образом, в четвертом типе жизненного мира путь деятельности к своей цели одновременно затруднен внешними препятствиями и осложнен внутренними колебаниями. Трудности возбуждают притязания других мотивов (которые появляются в сознании в виде «отвлекающих» желаний, соблазнов, искушений и пр.) на определение активности субъекта, а эта актуализировавшаяся внутренняя сложность, со своей стороны, «оттягивая» на себя часть энергии, занятой в осуществляемой деятельности, обрат-

[31] Это прекрасно известный из повседневного опыта феномен: столкнувшись с труднопреодолимым затруднением в работе, я вдруг ощущаю желание напиться воды, позвонить приятелю, просмотреть газету и т. п., — в ход идет любое легко осуществимое и привлекательное намерение.

ным движением, но уже не извне, а изнутри усиливает трудность ее реализации, и нужна особая работа воли, чтобы довести в этих условиях деятельность до конца.

Таким образом, одна из основных функций воли состоит в том, чтобы не дать разгорающейся в поле деятельности борьбе мотивов остановить или отклонить активность субъекта. И в этом смысле *воля — это борьба с борьбой мотивов.*

Разумеется, это не значит, что воля, взяв под свое покровительство определенную деятельность, перестает видеть все время меняющуюся психологическую ситуацию, без обсуждения отметает все появляющиеся возможности и намерения и независимо ни от чего постоянно подстегивает осуществляющуюся деятельность, одним словом, что воля — это слепая сила. В воле, на наш взгляд, вообще меньше силы, чем обычно считается, а больше «хитрости». «Силой против чувственности ничего нельзя добиться, — говорил И. Кант, — ее надо перехитрить...» [74, с. 385]. Сила воли состоит в ее умении использовать в своих целях энергию и динамику мотивов. Л. С. Выготский, опираясь на исследования гештальтпсихологов, высказал предположение о том, что по своему генезу «примитивные формы детской волевой деятельности представляют применение самим ребенком по отношению к самому себе тех способов, которые по отношению к нему предпринимает взрослый человек» [50, с. 363]. Это чрезвычайно плодотворная для понимания человеческой воли идея, если только не рассматривать ее, как это иногда бывает, слишком узко, а именно, что воля взрослого человека есть интериоризованная структура «приказ — подчинение»: волевое действие есть подчинение самоприказу. Действительно, существенная черта волевого поведения состоит в том, что субъект заставляет себя нечто сделать, властвует над собой, но подобно тому, как в социальных взаимодействиях один человек добивается от другого нужного ему поведения не всегда и не обязательно приказом, но и с помощью просьбы, обещанного вознаграждения, угрозы, отрезав ему другие возможности или прибегнув к интриге и т. д., точно так же чрезвычайно многообразны и не сводимы к самоприказу и интра-

психические методы волевого воздействия на самого себя.

В исходной для теперешнего нашего обсуждения ситуации столкновения деятельности с препятствиями, пробуждающими борьбу мотивов, действие воли может проявиться, например, в «обещании» актуализировавшемуся постороннему мотиву последующего удовлетворения его притязаний, после того, как будет завершена текущая деятельность. В результате конкурирующие деятельности связываются в некоторое содержательно-мотивационное единство, скажем, в структуру «заслуга-награда», в которой смысловая энергия деятельности-«награды» заимствуется для преодоления затруднений деятельности-«заслуги», а возросший и обогащенный в результате этого преодоления смысл может быть затем сторицей возвращен деятельности-«награде».

Хотя воля и проявляется по преимуществу в том, что, взяв под свое покровительство какую-нибудь деятельность, делает все, чтобы она была реализована, это не означает, что она становится на службу данной деятельности, полностью проникаясь ее интересами и смотря на внешний мир и другие мотивы субъекта только ее глазами, только с точки зрения их возможного вреда или пользы для этой деятельности. Воля по своей сущности — «орган» целостного человека, личности, она служит не отдельной деятельности, а строительству всей жизни, реализации жизненного замысла, и поэтому она защищает интересы той или иной деятельности не в силу своего подчинения ей, а по свободному решению сознания, вытекающему из этого жизненного замысла.

В той мере, в какой поведение утрачивает это опосредование сознанием, оно перестает быть и волевым, какие бы препятствия оно ни преодолевало и каких бы усилий это ни стоило субъекту. Даже в деятельности «вторично непроизвольной», т. е. такой, которая начиналась с известного волевого усилия, а затем, набрав ход, открыла в себе собственную энергию и мощь, дающие ей возможность сравнительно легко проходить сквозь все трудности и отвлечения, и где, казалось бы, в воле нет больше никакой нужды, она тем не менее присутствует в виде своего рода ценностного внимания и особых со-

держательно-временных трансформаций мотивации. Дело в том, что соблазн нужно вовремя заметить, а, заметив, его нельзя преодолеть, просто отмахнувшись от него, — ведь за ним стоит мотив, реальная и существенная для данной личности бытийная сила. И то, что активность субъекта прошла мимо соблазна, не отклонившись в его сторону, это заслуга не текущей деятельности, а воли, которая в этот самый момент произвела какую-то трансформацию мотива, стоящего за соблазном, снизившую его актуальную напряженность. Одним словом, воля постоянно следит за возникающими в ситуации внешними и внутренними возможностями и требованиями, оценивает их и в случае необходимости может сама прервать текущую деятельность, которая до сих пор находилась под ее покровительством. И именно это, а не прямолинейные попытки несмотря ни на что завершить начатую деятельность, — действительно волевое поведение, естественно, при условии, что на это прерывание имеются достаточные основания. Понятно, что основанием такого волевого акта не может быть просто непосредственная сила некоторого мотива, реализации которого грозил крах в случае продолжения деятельности. В волевом акте непосредственное побуждение должно быть всегда осознано [123, с. 508] и принято, и решающим является не непосредственная сила этого побуждения, а его содержание, его соотнесенность со всем смысловым, ценностным и временно-пространственным целым личности.

Итак, проблема воли должна обсуждаться не только и даже не столько в формально-количественном аспекте, в аспекте интенсивности («силы воли»), сколько с точки зрения происходящих в целостном волевом акте содержательно-ценностных преобразований[32]. В этой плоскости работа воли может быть понята как соотнесение и связывание надситуативности и ситуативности жизни.

В трудном и простом жизненном мире решающее слово в определении направления, поворотов и хода

[32] Ср. с утверждением С. Л. Рубинштейна [123, с. 511]: «Проблема воли, поставленная не только функционально и в конце концов формально, а по существу, — это прежде всего вопрос о *содержании* воли...»

деятельности принадлежит чисто ситуативным факторам, это бытие, полностью детерминированное конкретной предметной и мотивационной ситуацией; в легком и сложном жизненном мире, наоборот, решающими оказываются надситуативные содержания и ценности. Специфика жизненного мира четвертого типа состоит в том, что в нем возникают особые проблемы по согласованию требований надситуативности с требованиями, условиями и ограничениями ситуативности.

Что составляет содержание надситуативности? Во-первых, ценности, которые в принципе внепространственны и вневременны; а во-вторых, все те более или менее отдаленные замыслы, цели, намерения, ожидания, планы, обязательства и т. д., которые, непосредственно, не входя в данную пространственно-временную ситуацию, тем не менее при определенных условиях обнаруживают с ней некоторую связь (например, возможность достижения отдаленной цели ставится под угрозу происходящим «здесь-и-теперь»).

Глобальная задача и назначение воли и состоит, собственно, в практическом увязывании всех надситуативных (как идеально-ценностных, так и временно-пространственных) перспектив жизни в одно действительно осуществляемое в конкретном, ситуативном реальном поведении личностное единство.

В этой практичности и ситуативности отличие воли от сознания (как эти понятия заданы нашей типологией). Главная функция сознания также заключается в интегрировании жизненных отношений в личностную цельность, но сознание (опять же та чистая культура сознания, очерченная абстракциями третьего типа жизненного мира) оперирует с жизненными отношениями в их чистом ценностно-мотивационном выражении, с отношениями, отпрепарированными, отделенными от тела их чувственно-практической деятельности. Они интегрируются сознанием в принципе, «теоретически», при этом одни мотивы или ценности могут оказываться несовместимыми с духом всей создаваемой целостности и поэтому отвергаться, другие, наоборот, могут утверждаться в качестве обязательных и необходимых центров этой целостности. Но когда дело доходит до реального

жизненного осуществления установлении сознания, вдруг оказывается, что интегрированные сознанием отношения имеют свое самостоятельное, плотное бытие — отвергнутое отношение энергично требует своей реализации, а утвержденному в качестве центрального отношению, наоборот, не достает собственной энергии для снабжения соответствующей практической деятельности. Идеальная целостность, созданная сознанием, под напором «чувственно-практической» деятельности расходится по швам.

В противоположность (точнее, в дополнение к) «теоретическому» сознанию легкого и сложного мира в трудном и сложном мире субъекту приходится развивать волю и в рамках воли — практическое сознание, которое ее опосредует [ср.: 123, с. 598]. Задача практического сознания — сближать надситуативность и ситуативность, доводя первую до формы второй (например, «расписывая» идеальные цели в виде последовательности или системы реальных целей, претворяя надвременные ценности в пространственно-временные замыслы и проекты) и, наоборот, изобличая во всякой ситуативной данности надситуативный смысл, ценность или проблему, которую можно и нужно решать не только теоретически, но и практической деятельностью, имеющей дело с этой данностью. Это особая, уникальная задача — задача психологического «согласования времен». Она решается проекцией в психологическое настоящее разнородных «содержательно-временных рядов» отдельных жизненных отношений и многочисленных перспектив и горизонтов будущего и прошлого. Но как нельзя абсолютно точно изобразить на плоскости соотношение элементов кривой поверхности, так и эта не менее сложная внутренняя задача никогда не бывает решена полностью, всегда остаются бóльшие или меньшие погрешности, которые неустранимы в контексте обычного человеческого существования.

Наметим контуры некоторых проблем, встающих перед субъектом при решении задачи «согласования времен».

Во-первых, это проблема сочетания долго- и кратковременных перспектив, проблема выбора оптимальной точки отсчета в будущем, от которой ведется планирование и организация конкретной деятельно-

сти. Главное, к чему стремится практическое сознание, чтобы «дальнее» стало психологически близким, иначе говоря, чтобы лишенные непосредственной побудительности, хотя и высоко ценимые сознанием мотивы или цели, всегда вынесенные в некоторую временную перспективу, не переставая оставаться удаленными, заданными, в то же время вошли в феноменологическое «теперь», стали актуальной и действенной данностью.

Перед субъектом может стоять и противоположная задача по «согласованию времен», когда нужно не приблизить дальнее, а, наоборот, отдалить близкое. Скажем, при конфликте между некоторым высоко значимым поведением и страхом необходимо чувственно-интенсивную эмоцию страха, которая способна парализовать деятельность, отдалить от себя, «отстроиться» от нее или во временном отношении, устранить из момента «теперь»[33].

Во-вторых, это проблемы, порожденные ограничениями, которые время накладывает на жизнедеятельность: с одной стороны, проблема срочности исполнения действий, проблема цейтнота, с другой — проблема конечности человеческого существования вообще.

Последняя из обозначаемых нами проблем связана, в отличие от предыдущих, не с согласованием настоящего с будущим, а с согласованием настоящего с прошлым. Порой случается так, что с точки зрения теперешних ценностных установок «что-то из прошлого активно отвергается субъектом... Возника-

[33] Та же задача — освобождения от «тирании настоящего» — возникает и во время так называемой психалгии, острой душевной боли, потому что «при психалгии нарушается равновесие в соотношении временных периодов — настоящего, прошедшего и будущего. Представление о единстве времени распадается: воспринимается главным образом период настоящего, отвлекая человека от воспоминаний о прошлом, т. е. дезактивируя таким образом его прошлый жизненный опыт, лишая его возможности воспользоваться имеющимися у него социальными и адаптационными навыками, критериями, установками. Это обусловлено интенсивностью отрицательного переживания, переключающего... психическую деятельность на эмоциональный регистр» [10, с. 79]. Приведенные наблюдения А. Г. Амбрумовой интересны для нас тем, что показывают, что «отдаление» болезненного настоящего необходимо не только для обретения осмысленного будущего, но и для свободного использования прошлого опыта.

ющая переоценка прежнего, установившегося в жизни приводит к тому, что человек сбрасывает с себя груз своей биографии» [89, с. 216—217]. Работа «практического» сознания состоит при этом в том, чтобы принципиально (т. е. теоретическим, ценностным сознанием) отвергаемое прошлое постоянно усматривать в ростках, которые протянулись от него к настоящему и осели в повседневных поведенческих мелочах, привычках, эмоциональных реакциях и т. д. «Не следует только думать, что перевороты в прошлом личности производятся сознанием, сознание не производит, а опосредствует их; производятся же они действиями субъекта, иногда даже внешними — разрывами прежних общений, переменой профессии, практическим вхождением в новые обстоятельства» [там же, с. 217].

Таково схематическое перечисление основных задач, стоящих перед практическим сознанием. Уточняя проведенное выше различение сознания и воли, следует сказать, что воля, в собственном смысле слова, отличается от сознания по параметру практичности, а «практическое» сознание, опосредствующее волю, отличается от «теоретического» сознания по параметру ситуативности. Сознание легкого и сложного мира имеет дело с отношениями в их ценностной или мотивационной чистоте, с отношениями как координатами жизни, в их надситуативном выражении, и именно в таком виде пытается принципиально связать их в некоторую цельность. Воля же призвана воплощать эти замыслы о бытии в конкретной практической деятельности. Однако подобно тому, как, руководствуясь в путешествии картой, мы реально имеем дело не с ее контурами, а с конкретным материальным рельефом местности, так и воля в живой поведенческой действительности сталкивается не с отношениями per se, а с конгломератами чувств, целей, средств, препятствий, соблазнов, побуждений и пр., словом, с конкретной психологической ситуацией. Иначе говоря, существует разрыв между предметами, которыми манипулирует теоретическое сознание, и предметами, которыми манипулирует воля. Этот разрыв как раз и заполняется той особой внутренней деятельностью, которую мы назвали «практическим сознанием». Оно служит пере-

водчиком с ценностно-надситуативного языка на язык конкретно-ситуативный, заполняет «контурную карту» теоретического сознания конкретными особенностями реального жизненного пространства и времени и, наоборот, в живом психологическом рельефе усматривает ценностные и мотивационные координаты жизни. Практическое «сознание» призвано угадывать метафизику в физике, поступок — в движении, призвано в итоге сблизить, насколько это возможно, принципиальное, теоретическое сознание и волю, пронизать их друг другом.

ТВОРЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

Специфической для внутренне сложного и внешне трудного жизненного мира критической ситуацией является кризис. Кризис — это поворотный путь жизненного пути личности. Сам этот жизненный путь в своей уже-совершенности, в ретроспективе есть *история* жизни личности, а в своей еще-неисполненности, в феноменологической перспективе есть *замысел* жизни, внутреннее единство и идейная цельность которого конституируются ценностью. Замысел в отношении к идеальной ценности осознается, точнее сказать, ощущается как *призвание,* а в отношении к пространственно-временным условиям своего существования — как Дело жизни[34]. Дело конкретизируется в конкретные проекты, планы, задачи, цели, реализация которых и воплощает жизненный замысел. Когда в результате тех или иных событий реализация жизненного замысла становится субъективно невозможной, возникает ситуация кризиса.

Исход переживания кризиса может быть двояким. Он состоит либо в восстановлении прерванной кризисом жизни, возрождении ее, либо в перерождении ее в другую по существу жизнь. Но так или иначе речь идет о некотором порождении собственной жизни, о самосозидании, самостроительстве, т. е. о творчестве, ибо что есть творчество, как не порождение и созидание.

[34] Здесь представлены идеальные соотношения этих высших структур жизни и опущены проблемы выбора своего жизненного пути, формирования замысла жизни, порой мучительного поиска подтверждений своего призвания и разочарования в нем и т. д.

В первом подтипе творческого переживания жизнь в итоге восстанавливается, однако это означает не то, что она возвращается в прежнее свое состояние, это значит, что сохраняется лишь то существенное, что конституировало эту жизнь, ее ценностная идея, подобно тому, как наголову разбитый полк сохраняется в сбереженном знамени.

Переживание событий, вызвавших даже самые тяжелые и необратимые поражения всего «тела» жизни и сделавших невозможной реализацию жизненного замысла, но не затронувших при этом центральной ценностной идеи жизни, развертывается в двух направлениях. Первое из них связано с внутренним преодолением живых психологических отождествлений замысла жизни с конкретными формами его реализации, ставшими теперь невозможными. Замысел при этом как бы теряет свою «телесность», приобретает все более обобщенный и в то же время все более сущностный вид, приближаясь в пределе к идеальной ценности жизни. Второе, в каком-то смысле противоположное, направление действий переживания заключается в поиске среди сохранившихся жизненных возможностей других потенциальных воплощений замысла, причем этот поиск отчасти облегчается возрастанием обобщенности жизненного замысла. Если обнаруженные в ходе поиска формы реализации оцениваются сохранившейся ценностной идеей положительно, происходит формирование нового замысла жизни. Далее осуществляется постепенное смыкание замысла с чувственно-практическими формами, точнее «проращивание» его в конкретной материальности жизни.

Все это переживание, направленное на порождение нового жизненного замысла, тем не менее не уничтожает старого замысла жизни, ставшего теперь невозможным. Новое не замещает здесь старое, а продолжает его дело; старое содержание жизни сохраняется силой творческого переживания, причем сохраняется не в форме мертвого, бездейственного *прошлого,* а в форме живой и продолжающейся в новом *истории* жизни личности.

Второй подтип творческого переживания имеет место, когда замысел жизни оказывается основанным на ложных ценностях и дискредитируется вме-

сте с ними самим опытом своего осуществления. Задача творческого переживания состоит, во-первых, в нахождении новой ценностной системы, способной лечь в основу нового осмысленного жизненного замысла (в этой своей части творческое переживание совпадает с ценностным), во-вторых, в таком ее освоении и приложении к собственной индивидуальности, которое позволило бы придать смысл истории своей жизни и найти в этой ценностной системе идеал самого себя, в-третьих, в реальном чувственно-практическом искоренении зараженности душевного организма отмирающими лжеценностями (и соответствующими мотивами, установками, желаниями и пр.) и одновременно в чувственно-практическом же утверждении и воплощении выстраданного идеала.

Третий подтип ценностного переживания связан с высшими ступенями ценностного развития личности. Жизненный кризис создается разрушением или угрозой разрушения ценностного целого, частью которого личность себя мыслит. Человек видит, что это целое уничтожается силами враждебной ему реальности. Поскольку речь идет о полноценном субъекте сложной и трудной жизни, то ясно, что он не просто видит это уничтожение, а не может не видеть его, не может гедонистически отрицать реальность. Но, с другой стороны, для него также невозможно и отказаться от ценностного целого, предать его, поступиться своей убежденностью. Рассудочное рассмотрение ситуации признает ее принципиально безвыходной.

В чем же состоит «стратегия» творческого переживания? Оно, как и ценностное, в первую очередь ставит вопрос о «доверии» к реальности, о том, считать ли рассудок источником подлинной и единственной правды о действительности и принимать ли фактически данную в настоящий момент реальность за полноправное выражение всей действительности. Но если ценностному переживанию для того, чтобы выполнить свою задачу — позволить человеку устоять на его ценностной позиции, — достаточно было развенчать эти притязания рассудка и в идеальном плане признать в качестве высшей действительности действительность ценностную, то творческому переживанию требуется нечто большее, ибо его задача состоит

в обеспечении возможности *действовать,* исходя из этой позиции, реализуя и утверждая ее, действовать в условиях практически, материально противоборствующих осуществлению этой позиции.

Такое действование оказывается психологически возможным только при достижении особого внутреннего состояния. Мы имеем в виду состояние готовности пожертвовать любым из своих мотивов, о котором уже шла речь при обсуждении ценностного переживания. Но если в условиях легкого жизненного мира подобная мобилизация достигается внутренним самоуглублением, то в ситуации непосредственного столкновения с внешними трудностями и опасностями происходит в каком-то смысле обратное движение, не *в себя,* а *от себя,* движение, сосредоточивающее все душевные и физические силы человека не на достижении собственного счастья, благополучия, безопасности, а на служении высшей ценности. Предельная точка этого движения — состояние безусловной *готовности к самопожертвованию,* точнее, абсолютно очищенное от любых эгоистических фиксаций состояние полного самозабвения. Это состояние изнутри прорывает ситуацию невозможности, ибо в нем получают смысл «безрассудные», а на деле единственно осмысленные в подобной ситуации действия, создается психологическая возможность подвига.

§ 6. ИДЕАЛЬНЫЕ ТИПЫ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕЖИВАНИЯ

Здесь необходимо завершить уже начатое при анализе первых трех типов жизненных миров сопоставление переживаний различных типов. Наиболее существенные отличия переживаний разных типов проявляются в их отношениях, с одной стороны, к свершившемуся событию бытия, создавшему критическую ситуацию, т. е. к реальности, а с другой — к затронутой этим событием жизненной необходимости.

Гедонистическое переживание игнорирует реальность, искажает и отрицает ее, формируя иллюзию актуальной удовлетворенности и вообще сохранности нарушенного содержания жизни.

Реалистическое переживание в конечном счете принимает реальность как она есть, приноравливая к ее условиям динамику и содержание потребностей субъекта. Бывшее содержание жизни, ставшее теперь невозможным, отбрасывается реалистическим переживанием; субъект имеет здесь прошлое, но не имеет истории [ср.: 123, с. 682].

Ценностное переживание признает противоречащую или угрожающую ценностям реальность, но не приемлет ее, оно отвергает претензии непосредственной реальности прямо и безусловно определять собой внутреннее содержание жизни и пытается обезоружить ее идеальными, семиотическими процедурами, выводя с их помощью событие бытия из равенства самому себе, превращая его в предмет интерпретации и оценки. Свершившееся событие как факт бытия есть необратимая и неподвластная человеку реальность, но оно переводится ценностным переживанием в другую плоскость существования, преобразуется в факт сознания и в этом качестве преображается в свете ставшей или становящейся системы ценностей. Сказанное слово и совершенное действие уже не вернешь и не изменишь, но, осознав их неправоту, повиниться и раскаяться — значит и принять их как неустранимую реальность собственной жизни и в то же время ценностно отвергнуть их. Что касается ставшего невозможным содержания жизни, то ценностное переживание сохраняет его в эстетически завершенном образе, делая моментом истории жизни.

Если гедонистическое переживание отвергает реальность, реалистическое безоговорочно принимает ее, ценностное ее идеально преображает, то творческое переживание строит (творит) новую жизненную реальность. Свершившееся событие, например, собственный проступок, лишь идеально трансформируется, преображается ценностным переживанием, творческое переживание чувственно-практически, материально преодолевает отношение к нему. Этим чувственно-практическим, телесным характером отличается осуществление творческого переживания от ценностного; от реалистического переживания в силу своей существенной связи с ценностями оно отличается глубокой символичностью. Нереализуемое прошлое содержание жизни не только эстетически сохраняется

творческим переживанием в истории жизни, но и этически продолжается в замыслах и делах строящейся им новой жизненной реальности.

* *
*

Если до сих пор мы анализировали переживания как идеальные типы, то в заключение необходимо коснуться проблемы соучастия выделенных нами закономерностей в действительности конкретных процессов переживания.

В этой области действительности, так же как и во всех других, закономерности в чистом виде эмпирически проявляются крайне редко: в осуществлении реального процесса переживания обычно участвуют несколько принципов. Их сопряжения могут приобретать разные формы и строиться на разной основе. В качестве простейшего примера такого сопряжения можно привести описанное Р. Столоровым и Ф. Лэчманом [247] защитное отрицание молодой женщиной смерти ее отца. Несмотря на то что доминирующим принципом в этом переживании был принцип удовольствия, переживание могло быть эффективным, т. е. сохранять веру женщины в то, что отец жив, лишь перестраивая созданную ею иллюзию в соответствии с действительными фактами и подчиняясь, таким образом, хотя бы частично, принципу реальности.

От того, какой принцип лежит в основе конкретного синтеза различных типов переживания, во многом зависят развивающие возможности процесса. Если его доминантой является принцип удовольствия, то переживание, даже в случае успеха, может привести к регрессу личности, принцип реальности в лучшем случае удерживает ее от деградации, и только на основе принципов ценности и творчества возможно превращение потенциально разрушительных событий жизни в точки ее духовного роста и совершенствования.

Однако однозначной зависимости между доминирующим принципом переживания и его последствиями для развития личности не существует. При небольшой личностной значимости переживаемых событий (скажем, при физической боли) наиболее аде-

кватным может оказаться именно принцип удовольствия. С другой стороны, попытки ценностного и творческого переживания событий могут иметь чрезвычайно отрицательные последствия, например, в случае, когда вживляемые переживанием ценностные структуры не соответствуют индивидуальности личности и жизненной ситуации, в которой она оказалась. Подобно тому как даже самое хорошее лекарство может принести большой вред, если его назначение не согласуется с особенностями больного организма и течения болезни, так и способ переживания в идеале должен строго соответствовать уникальной ситуации данного жизненного мира.

Творческое переживание, взятое не как идеальный тип, а как основа эмпирического процесса, взятое как творчество в переживании, заключается в создании соответствующего этой и только этой критической ситуации уникального синтеза переживаний различных типов. Причем первый творческий шаг делается еще до начала позитивного процесса, он состоит в выяснении меры необходимости переживания вообще. Дело в том, что в прошлом опыте личность, сталкиваясь с ситуациями невозможности, развивала различные механизмы переживания, и коль скоро они уже имеются, то, как всякие механизмы, могут быть использованы там, где это кажется удобным, а не только там, где без них нельзя обойтись. Творчество в переживании, таким образом, состоит отчасти в том, чтобы переживать преимущественно по мере необходимости, т. е. не снижать искусственно пороги возникновения критических ситуаций.

В самом же осуществлении сложного процесса переживания творчество проявляется часто не столько в самих по себе специфических для идеального типа творческого переживания процессах, сколько в предоставлении свободы, а иногда и главенствующего на каком-то этапе положения принципам удовольствия, реальности и ценности.

Но, разумеется, такое переживание, как и всякий реальный процесс творчества, не может быть творческим во всех своих точках. Творческое сознание не способно непрерывно контролировать весь ход процесса, то один, то другой принцип время от времени выходит из-под его контроля. Поэтому слож-

ный, долгий, в целом творческий и приводящий к гармонизации жизни процесс переживания сам вовсе не является чем-то гармоническим. Каждый из жизненных принципов — удовольствия, реальности и ценности, — которые принцип творчества должен в идеале синтезировать, представляют собой настолько сильные и самостоятельные тенденции и их цели в данной ситуации могут настолько расходиться, что в рамках осуществляющегося процесса переживания возникают иногда серьезные внутренние конфликты между принципами. Они часто решаются неадекватно и односторонне. И хотя при этом происходит временная и частичная гармонизация сознания, в целом решение этого конфликта может иметь такие отрицательные последствия, которые являются не менее разрушительными для личности, чем сами переживаемые события. Поэтому переживания часто представляют собой долговременные цепные процессы, на каждом последующем этапе которых приходится иметь дело не только или даже не столько с самими исходными критическими обстоятельствами, сколько с неблагоприятными последствиями предыдущих попыток совладания с ними. Сам по себе этот факт цепного характера процесса переживания не раз отмечался в психологической литературе, однако в силу неразличения разнородных принципов переживания, цепи эти мыслились, так сказать, линейно: если психоаналитик и говорит о «защите против защиты» [232, с. 92; 241, с. 28], то имеет в виду попытку переживания последствий неудачной защиты защитными же мерами. Несомненно, такие феномены существуют, но более важная и с теоретической и с практической стороны проблема состоит в том, чтобы понять и объяснить внутреннюю конфликтность и противоречивость процессов переживания в плане борьбы разнородных принципов. А в этом плане «защита против защиты» решает не частные ситуативные задачи, мотивированные в конечном итоге тем же стремлением к удовольствию, что и неудавшаяся защита, на отрицательные последствия которой направлен процесс, а является принципиальной борьбой высших принципов жизни против доминирования принципа удовольствия. Эта борьба с защитами как таковыми, с их автоматичностью,

т. е. бессознательностью и непроизвольностью, с искажениями реальности и самообманами, и она тем труднее, что не обещает никакой непосредственной выгоды, удобства, комфорта. Психоанализ З. Фрейда не смог подняться в теории переживания выше принципа реальности, да и то понятого как модификация принципа удовольствия. В действительности борьба против защиты осуществляется не ради подчинения реальности и даже не из абстрактной любви к истине. В ней выражается стремление человека к настоящей жизни [87], к подлинности, ради которой человек способен жертвовать своим физическим, социальным и психологическим благополучием.

Итак, аналитически выделенные нами «жизненные миры» — это не замкнутые на себя срезы психологической действительности, а компоненты единого психологического мира человека. Поэтому в реальной жизни нет однозначной зависимости между типом критической ситуации и типом ее переживания. Скажем, фрустрацию как критическую ситуацию, специфическую для «простого и трудного мира», конкретный субъект вовсе не «обречен» переживать реалистически, он может пойти по пути и гедонистического, и ценностного, и творческого переживания. Помочь ему избрать оптимальный путь — главная задача психологической помощи.

Глава III КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Исследуя в предыдущей главе особенности различных жизненных миров, мы ради строгости и чистоты анализа вынуждены были абстрагироваться от конкретного многообразия содержания этих миров. По этой причине выделенные в итоге закономерности переживания носят внеисторический, формально-психологический характер. Знание такого рода закономерностей позволяет описывать и объяснять ход течения процессов переживания, но их совершенно недостаточно для понимания определенного содержания переживания конкретного человека, живущего в определенную историческую эпоху и в определенной культурной среде. Поэтому типологический анализ переживания должен быть дополнен культурно-историческим анализом, направленным на выявление его конкретно-исторических, содержательных закономерностей.

Нужно сказать, что такая ориентация в исследовании переживания не является чем-то новым для деятельностного подхода в психологии: еще 40 лет назад под непосредственным влиянием идей Л. С. Выготского А. Н. Леонтьев и А. Р. Лурия [90, с.538] поставили задачу «рассмотреть сложные человеческие переживания как продукт исторического развития...»

В самом деле, в каждом человеческом переживании нетрудно обнаружить его культурно-историческую опосредованность. Почему, скажем, в упоминавшемся уже не раз примере об узниках Шлиссельбургской крепости [86] ситуация принудительного физического труда оказалась для них непереносимой и стала психологически приемлемой только в результате переживания, внутренне перестроившего мотивацию этой отчужденной, вынужденной деятельности так, что, оставшись той же по своему операционному составу, она трансформировалась в психологически совершенно иную — свободную и произвольную деятельность? То есть почему именно свободная форма деятельности является в данном случае психологически более приемлемой и переживание стремится всякую другую форму деятельности изобразить как (или преобразовать в) свободную? Нужно думать, что для античного раба, например, подобная ситуация вообще не требовала бы никакого переживания, но не потому, конечно, что он просто привык подчиняться, ибо сам этот факт привычки требует своего объяснения. Раб мог смириться со своим жизненным положением (даже если он родился свободным, а лишь затем стал рабом), потому что в его сознании действовали выросшие на основе рабовладельческой формации объективные и в то же время обладающие для него непосредственной феноменологической очевидностью «схематизмы» [102], согласно которым раб был «только неодушевленной вещью (в римском праве раб так и называется — res, «вещь») или, в крайнем случае, домашним животным» [96, с. 34]. Для нас чрезвычайно важно, что речь идет не только о том, что рабовладельческий тип общества объективно и «необходимо требует наличие раба, т. е. человека, понимаемого и действующего как вещь» [там же, с. 53], но и об отсутствии «в самом человеке сознания, что он именно человек, а не вещь» [там же], об отсутствии в античности «самого опыта человеческой личности» [там же, с. 52].

И совершенно другие схематизмы определяют сознание и самосознание человека новоевропейской культуры. В переживании революционеров, узников Шлиссельбургской крепости и проявился, пожалуй,

центральный из этих схематизмов, который можно условно назвать «Личность». В поле действия этого схематизма наивысшую ценность получают такие характеристики человеческой жизни, как сознательность, произвольность, инициативность, ответственность и т. д., одним словом, свобода. В меру реальной психологической включенности человека в данный культурный институт, перечисленные характеристики деятельности являются для него актуально напряженными и жизненно важными требованиями, и переживание, по возможности, стремится так перестроить или переформулировать и переосмыслить ситуацию, чтобы она отвечала им. Иначе говоря, определенная содержательная направленность процесса переживания отнюдь не является естественно присущей человеческой психике вообще. Первобытному человеку, например, не придет в голову вопрос, лежит ли на нем лично ответственность за неудачу на охоте или нет. Вина возлагается на колдовство, порчу, дурное влияние, от которых он защищается магическими процедурами [82], переживая тем самым эту ситуацию совершенно иначе, чем ее пережил бы современный европеец.

Однако констатировать историчность процессов переживания — это полдела. Собственно психологическая постановка проблемы состоит в том, чтобы применить к анализу переживания общую схему социально-исторической детерминации психики, уже опробованную Л. С. Выготским и его учениками на разнообразном психологическом материале [49; 50; 84; 87; 98; и др.], а именно понять переживание как процесс, опосредованный «психологическими орудиями» [50], представляющими собой искусственные, социальные по своей природе образования [там же, с. 224], осваиваемые и интериоризируемые субъектом в ходе общения с другими людьми.

Реализация культурно-исторического подхода в изучении переживания предполагает анализ трех взаимосвязанных вопросов: каковы специфические культурные средства переживания? каковы особенности процесса их освоения? и, наконец, каков характер участия других людей в этом освоении и в переживании индивида?

Ни эрудиция автора, ни рамки настоящей работы

не позволяют дать исчерпывающие ответы на эти вопросы. Подробное их изучение — предмет особых исследований. Мы же сейчас, намечая перспективу этих исследований, видим свою задачу в том, чтобы сначала на основании общих идей культурно-исторического подхода выдвинуть хотя бы самые схематичные представления, которые могли бы служить в качестве первичных ориентировочных гипотез изучения данной проблемы, а затем проиллюстрировать эти представления данными специально проведенного нами анализа конкретного случая переживания, в котором культурно-историческая опосредованность этого процесса проявилась особенно рельефно.

Что представляют собой специфические культурные средства переживания? Логично предположить, что в них должен быть так или иначе сконцентрирован исторически накопленный опыт переживания типических жизненных ситуаций, что, относясь только к одному типу этих ситуаций, каждое из них должно обладать достаточно содержательной определенностью и в то же время, будучи потенциально приложимо к жизни любого индивида, т. е. общезначимо, оно должно быть весьма формально. Далее, в соответствии с общими представлениями культурно-исторического подхода в опосредствующих психический процесс (и переживание в том числе) знаковых образованиях индивид находит не просто «орудие» или средство, количественно увеличивающее его возможности, но и формообразующую структуру, внедрение которой качественно перестраивает весь процесс.

Всем этим признакам отвечают хорошо известные (но, впрочем, плохо знаемые, если иметь в виду дистанцию между известным и знаемым, о которой говорил Гегель) большинству гуманитарных наук особые содержательные схемы, представление о которых существует, кажется, с тех пор, как существует философия[1].

[1] Из современных фиксаций этого представления наибольшую популярность в буржуазной психологии приобрело понятие архетипа К. Юнга [6; 94; 167; 209 и др.], относившего к родословной своего понятия Платоновы «идеи»; «ideae principiales» Августина, «категории» Канта и «коллективные представления» Леви-Брюля [209, с. 4—5].

Подключаясь к тому или иному культурному «схематизму сознания» (если воспользоваться термином известных советских философов [102]), индивидуальное сознание начинает подчиняться его особым «формообразующим закономерностям» [6]. Эти схематизмы способны служить формой осмысления и переосмысления человеком событий и обстоятельств его жизни, а значит, и культурно-заданной формой индивидуального переживания.

Что касается вопроса об освоении схематизмов, то этот процесс резко отличается от процесса интеллектуального усвоения. Хотя схематизм и является с определенной точки зрения системой значений, но его нельзя выучить как систему научных знаний, ибо схематизм всегда символически насыщен и, как всякому символу, ему свойственна «смысловая глубина, смысловая перспектива, требующая нелегкого вхождения в себя» [5, с. 826], причем вхождения не умом только, а всею жизнью. «Войти» в схематизм можно, только достигнув определенного состояния сознания, соответствующего строю этого схематизма[2].

Приведенный ниже анализ конкретного случая переживания позволяет выдвинуть предположение, что «вхождением» в схематизм может осуществляться работа переживания. Этот же анализ показывает, что «вхождение» в схематизм — процесс не одноактный, а состоящий из многих этапов. Причем первые «вхождения» носят случайный и мимолетный характер, сознание как бы попадает в схематизм в силу того, что определенные действия субъекта и жизненные ситуации, в которых он оказывается, объективно настраивают его сознание созвучно схематизму. Но для того чтобы прочно «войти» в схематизм и тем пережить кризис, необходимо не просто соответствующее настраивание сознания, но его глубинная перестройка.

[2] Поэтому вполне осмысленно и такое представление «пространственных» отношений между схематизмом и индивидуальным сознанием, когда схематизм мыслится находящимся не вне, а внутри душевного организма и лишь актуализирующимся при достижении определенного состояния сознания.

Эта сложная операция над своей личностью не может быть произведена индивидуально. В ней совершенно необходим Другой. Причем, по-видимому, не всякий Другой, а лишь человек, образ которого является для переживающего живым воплощением миропонимания, соответствующего схематизму, в который ему предстоит «войти». Роль Другого в переживании особенно наглядно видна в исторической перспективе. Если человек, принадлежащий современной городской культуре, переживая, например, смерть близкого, часто стремится к уединению [155; 217] и воспринимает порой коллективные акты похорон и поминовения покойного просто как дань традиции, обычаю, не имеющим ровно никакого отношения к его интимному переживанию утраты, то в культурах, существенным моментом воспроизводства которых является постоянное функционирование и трансляция ритуально-мифологической практики, исполнение погребального обряда [80; 134] и, стало быть, подключение к соответствующим символизмам и является, собственно говоря, самим актом осуществления переживания [ср.: 101, с. 135]. Все важные, поворотные, переломные моменты человеческой жизни всегда тяготели к коллективному их принятию и переживанию. С этой точки зрения перед исследователем психологии переживания открывается широкое поле деятельности в психологическом изучении обрядов, связанных с рождением, смертью, инициацией, свадьбой и пр. [38; 127; 134; 143 и др.].

Необходимо подчеркнуть, что все эти положения носят совершенно предварительный характер.

Приступая теперь к анализу конкретного случая переживания, а именно переживания Родионом Раскольниковым своего преступления, мы наряду с главной целью — иллюстрации и конкретизации этих положений — надеемся проиллюстрировать еще и целый ряд других положений, выдвинутых в предыдущих частях работы. Но прежде должна быть сделана одна оговорка в связи с тем, что объектом нашего анализа является не реальный человек, а литературный персонаж. Какую доказательность имеют данные такого анализа? Может ли он в принципе рассчитывать на выявление реальных психологических закономерностей, например, в силу реализма

изображения? Можно ли надеяться, что писатель, не выходя за пределы психологической достоверности в изображении действий и переживаний, не искажает нигде и психологических законов, т. е. что все описанное им в принципе возможно и как психологическая реальность? Занимаемся ли мы, исследуя психологические закономерности поведения персонажей, реконструкцией реальности или всего лишь реконструкцией скрытой концепции художника, его мнения об этой реальности? (Хотя так ли мало это «всего лишь», особенно когда речь идет о Достоевском?) А может быть, вообще пытаться изучать психологию реальных людей посредством анализа продуктов поэтического вымысла так же бессмысленно, как изучать гидрологию моря по полотнам маринистов?

Все эти вопросы мы оставляем открытыми и на свой страх и риск предпримем исследование переживания Раскольникова так, как будто мы имеем дело с реальным человеком, определенный отрезок жизни которого добросовестно описан писателем.

* *
*

Вполне понятно, что начать исследование необходимо с уяснения истоков и путей возникновения психологической ситуации «невозможности», создавшей необходимость в этом переживании.

«Чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством» [64, с. 684], нараставшее в Раскольникове задолго до преступления, — вот главный внутренний корень его преступления и одновременно общая жизненная проблема, стоявшая перед ним. На первых страницах «Преступления и наказания» мы застаем уже далеко зашедший процесс изоляции героя, разрыва всех связей общения, объединявших его с другими людьми: Раскольников «бежал всякого общества», у него выработалась «привычка к монологам», «с прежними товарищами своими теперь он вообще не любил встречаться». Хотя в нем изредка еще ощущается «какая-то жажда людей», однако, едва дело доходит до реального контакта, Раскольников испытывает «неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому ли-

цу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности».

Конфликт между тенденцией «быть вне» людей и противостоящей ей, хотя и очень ослабленной, тенденцией «быть с» ними вылился в компромиссную установку «быть над людьми», которая как раз соответствовала соотношению сил этих стремлений: ведь хотя «над» — это отчасти и «вместе с», но все-таки в значительно большей степени «вне». Свое непосредственное психологическое выражение этот компромисс нашел в обостренной гордости Раскольникова, а свое содержательное идеологическое воплощение — в его «теории» двух разрядов людей. Такова была психологическая почва, на которой могла «приняться» идея преступления: гордость обещала обеспечить психологическую выносимость преступления, «теория» — его этическую оправданность, а осуществление преступления, в свою очередь, выглядело как доказательство правильности «теории» и удостоверение сверхчеловеческого [54; 59] «права» ее автора, его принадлежности к высшему разряду людей. И уже в другом, более заземленном, плане преступление казалось разрешающим как внешние, материальные затруднения, так и связанные с ними внутренние проблемы, в первую очередь — нежелание принимать жертву Дунечки, согласившейся ради брата на брак с Лужиным.

Оставляя в стороне подробный анализ психологического перехода «идеи» в «дело» (фазы этого перехода: от абстрактной «теории» к «мечте», потом к конкретно планируемому «предприятию», далее к «пробе» и, наконец, к реальному совершению преступления), заметим только, что этот процесс сопровождался мучительной нравственной борьбой героя со своей «проклятой мечтой». Чем ближе она подходила к «делу», чем окончательнее становилось решение героя, «тем безобразнее и нелепее тотчас же становилось в его глазах», тем сильнее, значит, становилось внутреннее сопротивление «идее» со стороны совести, подобно тому как все более и более возрастает сопротивление пружины по мере ее сжимания. Этот внутренний спор так и не был принципиально решен сознанием в пользу преступления (достаточно вспомнить, в каком состоянии помра-

чения рассудка и утраты воли находился Раскольников перед убийством и особенно по пути к дому старухи процентщицы, чтобы понять, что оно не было следствием сознательного и произвольного решения), и даже само преступление не только не разрешило его, но грубой силой свершившегося факта лишь закрепило в его душе эту сжатую до отказа пружину нравственной борьбы, остановив ее колебания в самом невыносимом по напряженности состоянии.

Если до преступления Раскольников принужден был строить жизнь и общение, «болея» идеей преступления, мнением о нем и его возможной этической оправданности и психологической выносимости, то теперь он был отягощен фактом совершенного убийства. Из содержания сознания, от реализации которого возможно было отказаться и с которым можно было спорить, оно проросло в содержание бытия, с которым спорить уже нельзя и изъять из жизни нельзя. Но и принять его в жизнь, как показали первые же психологические реакции на этот факт, тоже нельзя. «Теория» Раскольникова, претендовавшая на обеспечение его принятия, на придание преступлению смысла, сразу же обнаружила свою полную психологическую несостоятельность. Эта «теория», обосновывавшая идею преступления, будучи абстрагированной от существенных пластов личности своего автора и исполнителя, оказалась неравномощной своей «практике»: она была прорвана реальным поступком, воплотившим идею и тем самым чувственно столкнувшим ее со всем сложным составом личности героя и этим столкновением развенчавшим (не на уровне рационального сознания, но на уровне «натуры», по словечку Порфирия Петровича) претензии теории, точнее, вытекающего из нее «наполеоновского» идеала, на роль внутренне организующего и «оцельняющего» личность начала. А так как цельность личности не есть, вообще говоря, естественно данное единство, а есть единство заданное, активно создаваемое самим человеком, то утрата объединяющего начала открывает доступ процессам распада и дезинтеграции личности и ее жизни.

Раскольников почувствовал «во всем себе страш-

ный беспорядок». Обрывается временная преемственность сознания: он понял, что не может «о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами интересоваться, какими интересовался... еще так недавно... В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления... и сам он, и все, все...» Нарушается общение с самим собой, с людьми, с миром: «Он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего...»[3].

С этого момента начинается переживание героя. В условиях отсутствия новой ценностной системы, на основе которой можно было бы перестроить личность в целом и тем разрешить неразрешимые в наличном жизненном мире внутренние конфликты, сознание, стремясь предотвратить окончательную деструкцию личности, вынуждено прибегнуть к защитным механизмам. Однако психологическая защита хотя и устремлена к достижению некоторого единства, но, подчиняясь, как мы уже знаем, «инфантильной» установке, пытается бороться против сложности не преодолением и разрешением ее, а ее иллюзорным упрощением и устранением. Нечувствительная к целостной психологической ситуации, она действует негибкими средствами, отрицательные последствия применения которых перевешивают его положительные эффекты. Конкретно, в случае Раскольникова, попытки защитного переживания основного конфликта не только не разрешают его позитивно, но, втягивая в зону его действия все новые и новые отношения, порождают целую сеть производных конфликтов, заражая в конце концов весь душевный организм.

Проследим вкратце ход образования этой сети. До преступления центральный конфликт — между идеей преступления и совестью — постоянно пульсировал в сознании, это была непрекращающаяся внут-

[3] Вот как объясняет эту зависимость современный автор: «Расторжение единства с совестью — вестницей согласия с другими — является одновременно разрывом единства с другими людьми, обществом, миром; это разрыв со своей сущностью. Человек реально перестает быть общественным существом. Таков путь распада, разложения, омертвления личности» [150, с. 169].

ренняя борьба, которая велась всеми средствами сознания — рациональными, бессознательными (первое сновидение Раскольникова), эмоциональными. Эмоциональная динамика этого конфликта выражалась в возрастании у героя чувства отвращения к «идее» и к себе как ее носителю по мере принятия все более окончательных решений, т. е. по мере приближения «идеи» к «делу», и в появлении чувства облегчения по мере удаления ее от «дела», отречения от «проклятой мечты». Когда же преступление было совершено, чувство отвращения к самому себе достигло таких угрожающих размеров, стало настолько невыносимым, что возникла необходимость избавиться от него или по крайней мере как-то трансформировать его. Сознание избирает путь защитного проецирования этого чувства на внешний мир. Причем отвращение к объектам внешнего мира распределяется явно неравномерно. Это объясняется тем, что защитный эффект процесса проецирования, как легко понять, тем значительнее, чем больше он снижает напряжение конфликта, ослабляя тот или другой его полюс; а так как идея преступления (один полюс конфликта) «затвердела» в необратимый факт реального убийства и не могла быть уже поколеблена никакой эмоцией, то мишенью защитного процесса становятся моменты опыта, стоящие на стороне второго полюса конфликта, на стороне совести. Это выражается прежде всего в том, что для Раскольникова становится невыносимым общение с близкими ему людьми — матерью, сестрой, Разумихиным, поскольку все их действия и разговоры обращаются к стоящей в противоречии с идеей преступления части его души, самим этим актом живого человеческого обращения питая и усиливая ее, а следовательно, усиливая и внутренний конфликт и его эмоциональное выражение — отвращение и ненависть к самому себе. Защитное проецирование этих эмоций, в результате которого Раскольников начинает ощущать «физическую ненависть» к близким, таким образом, не просто отводит их острие в сторону, но направляет их против порождающей их же причины.

Однако о достижении какого-либо устойчивого равновесия не может быть и речи, поскольку возник-

шее чувство ненависти к близким, ослабляя один конфликт, порождает новый — оно вступает в противоречие с любовью к ним. Ненависть не дает любить и выражать любовь, любовь препятствует ненависти и ее выражению. Выход у сознания один — не чувствовать и не выражать ни того, ни другого, отстраниться от близких. Это отчуждение осознается героем в квазипространственной форме: «Все-то кругом точно не здесь делается... — говорит Раскольников матери, сестре и Разумихину, — вот и вас... точно из-за тысячи верст на вас смотрю».

Такое «решение» очередного частного внутреннего противоречия в масштабе всей системы сознания оказывается «невыгодным», поскольку отчуждение усиливает старый изначальный конфликт между исконной потребностью в людях, стремлением к ним и отгороженностью, отъединенностью от людей. Таким образом упрочивается замыкание психологического мира Раскольникова, затрудняющее глубокое человеческое общение, которое одно и способно разорвать круги индивидуально неразрешимых внутренних конфликтов. Напряженный моральный диалог, столкнувший совесть и преступление, — этот стержень внутренней жизни героя оказывается закрытым для всякого слова, взгляда, вмешательства Другого: доступ к одному его полюсу — совести — был прегражден только что описанным механизмом отчуждения, второй — преступление — был закрыт для общения просто в силу своего содержания, предполагающего в социальном контексте тайность[4].

---

[4] Индивидуальная тайна — это язва, изнутри разлагающая общение. Полнокровное человеческое общение предполагает стремление к максимальной открытости сознания. В нем — постоянная борьба за предельное самовыражение, включение в общение всего человека, всей полноты его души. Нити ассоциаций, проявляющихся в общении, как бы пронизывают человека, просвечивают его для самого себя и для другого. Они должны в идеале охватить всю временную полноту его жизни, все ряды причин и мотивов поступков, планов и перспектив, должны очертить его жизненную позицию, высветить содержание его внутреннего мира. Тайна одного из общающихся — это некоторая дыра, точнее, непрозрачная инородная капсула в теле общения, место, в котором прерываются ходы беседы, взаимных объяснений поступков, воспоминаний, планов и т. д. В результате с развитием общения тайна вольно или невольно «пеленгуется» с разных сторон, превращаясь таким образом в секрет (тайна типологиче-

Казалось бы чисто внешний факт утаивания на деле отнюдь не безразличен и не безопасен для личности. «Во всем тайном, темном, мистическом, поскольку оно может оказывать определяющее влияние на личность, Достоевский усматривал насилие, разрушающее личность» [23, с. 323]. Утаивание преступления заряжает и без того сложную картину внутренних конфликтов Раскольникова еще одной парой противоположных сил. Одна из них отталкивает его от близкого, глубокого общения (чтобы сохранить тайну), другая подвигает его к «публикации» тайны (чтобы обеспечить возможность общения). Это противоречие, как и в предыдущих случаях, разрешается некоторыми компромиссными формами: во-первых, тягой к общению с незнакомыми или малознакомыми людьми, во-вторых, косвенными «публикациями» тайны. Раскольников болезненно стремится ко всякой беседе, в которой возможно хоть косвенное, непрямое обсуждение его преступления (наиболее показателен в этом отношении разговор с Заметовым в трактире).

Мы видим, что всякая попытка решения любого из конфликтов в конечном счете ухудшала общее положение дел, давая росток нового конфликта, так что в итоге образовалась многократно переплетенная конфликтная сеть, движение сознания в которой только наводило дополнительное напряжение ее, усиливая страдания героя и все дальше отодвигая реальный выход, действительное разрешение ситуа-

---

ски отличается от секрета тем, что в ней скрывается и некоторое содержание, и сам факт его сокрытия, в то время как при секрете известно (или даже нарочито извещается), что нечто скрывается, но неизвестно, что именно). Если происходит дальнейшее углубление общения, оно ведет к полному выталкиванию тайны на поверхность. Можно сказать, что в стихии общения тайна тяготеет к постепенному обнаружению, которое в конце концов отливается в различные культурные формы явленности тайны — от интимного признания вплоть до полной публикации, когда она органически входит во все поле общения человека, не требуя больше специальных усилий по ее сокрытию, постоянному заслону от света общения. Катарсис исповеди и признания и заключается отчасти в этом очищающем тело общения превращении чужеродных ему ингредиентов в сродственные ему. Сохранить тайну в душной замкнутости изолированного индивидуального сознания можно только ценой отказа от подлинного, проникновенного человеческого общения.

ции. В плоскости этой сети выхода не было, жизненная задача была неразрешимой. Для того чтобы решить эту жизненную апорию, пережить создавшуюся психологическую ситуацию, необходимо было разомкнуть ее в какое-то другое измерение, вырваться из порочного круга внутренних конфликтов.

Среди жизненных движений героя мы обнаруживаем особый ряд действий и ситуаций, которые хотя бы на минуту излечивают его, зажигают в нем утраченный смысл существования. Это акты служения людям. Самым знаменательным из них была помощь семье умершего Мармеладова. Отдав все свои деньги и обещав назавтра зайти, Раскольников, уходя, ощутил себя полным «одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение». Но почему именно эти акты оказываются целительными для души Раскольникова? Потому, очевидно, что они по своему смыслу и объективным психологическим следствиям противостоят преступлению и шире — всему психологическому миру, в который он был помещен преступлением. Конкретно: убийству и грабежу противостоит нечто прямо противоположное — милосердие и милостыня. В одном случае — корыстное отнятие, в другом — бескорыстный дар. В одном случае другой человек — средство, в другом — цель. В первом случае единственная безусловная ценность, и вообще подлинная реальность — это Я сам: Я утверждается вне отношения к Другому, отъединяет себя от всего и всех; во втором ценностный акцент перенесен на Другого. Эмоциональный строй первого действия — злоба, ненависть и пр., второго — любовь. Такова противоположность внутреннего смыслового состава этих действий. Не менее важна и противоположность их последствий. Преступление, объективно отъединяя преступника от людей, еще и утаивается им и поэтому связано со стремлением еще более отгородиться, замкнуться (Раскольников не раз выражает желание остаться один); дар, наоборот, открывает человека навстречу Другому, вызывает благодарность с его стороны, а любовь и благодарность со стороны Другого и их внешние выражения —

объятие и поцелуй, есть то, что извне оцельняет, ценностно утверждает Я, придает ему действительность и жизнь [ср.: 23, с. 39]. Поленька, догнав Раскольникова, обнимает его и обещает молиться о нем. «Через пять минут он стоял на мосту ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина. «Довольно! — произнес он решительно и торжественно, — прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь!»

Служение людям приводит, таким образом, к утверждению жизни, к переходу от преобладавшего в сознании Раскольникова после преступления ощущения смерти (суицидальные намерения, отождествления своей комнаты с гробом и т. д.) к переживанию* полноты и ценности жизни, или, иначе говоря, мы имеем здесь переход от ситуации психологической невозможности жизни к ситуации возможности ее. В еще более чистом виде этот переход проявился до сцены с Поленькой. После одного из актов служения Раскольников вдруг вспоминает, что где-то читал, «как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить, — только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда!»

Однако возрождающаяся служением людям жажда жизни, ощущение возможности жизни, «воли и силы» — не завершение переживания, а только начало его. Это лишь общее основание, без которого не может быть дальнейшего движения, но в самом желании жить не содержится еще ответов на вопросы, как жить, ради чего, чем, в нем нет содержательных решений внутренних проблем, нет преодоления тех причин, которые изнутри разлагали жизнь, лишали ее цельности и осмысленности, делали невозможной. В испытанном Раскольниковым чувстве возрождения самом по себе нет гарантий его же собственного продолжения, они должны быть созданы содержа-

тельной переработкой сознания и жизни, и в первую очередь тех жизненных событий и отношений, которые привели к разладу жизни. Эта переработка подчиняется в начале у нашего героя принципу реальности и состоит в попытках принять случившееся в его жизни так, как оно есть: «...Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой! Царство ей небесное и — довольно, матушка, пора на покой!». Ни в чем так явно не выражается доминирование в сознании принципа реальности, как в культе силы: «Царство рассудка и света теперь и... воли, и силы... и посмотрим теперь, померяемся теперь! — прибавил он заносчиво». И дальше: «Сила, сила нужна: без силы ничего не возьмешь, а силу надо добывать силой же...»

Такая «реалистическая» переработка событий не подхватывает начатое актами служения Раскольникова преодоление «разомкнутости и разъединенности с человечеством» и даже действует в противоположном направлении, вызывая в нем прилив «гордости и самоуверенности», вновь утверждая в его сознании установку «быть над людьми», отгораживая его от людей и замыкая его психологический мир.

Кроме актов служения еще два ряда действий в поведении Раскольникова объективно направлены на преодоление его «разъединенности с человечеством» — это упоминавшиеся уже косвенные «публикации» тайны и импульсивное общение с незнакомыми людьми. Они тоже вызывают в нем положительные эмоциональные состояния, которые, впрочем, в отличие от радостного и даже блаженного настроения, следующего за служением, носят болезненный характер (например, после разговора с Заметовым в «Хрустальном дворце» «он вышел весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения...»).

Причина этой болезненности в том, что этим актам не присуща радикальная переориентация сознания (а именно перенос ценностного центра тяжести на Другого), и поэтому они, решая некоторые частные конфликты героя, не переводят его в новый пси-

хологический мир, в который он хотя бы на минуту вводится актами служения, а лишь касаются этого мира, чтобы тотчас вернуть сознание Раскольникова в старое состояние, нагромоздив дополнительные душевные осложнения.

Но если оставить в стороне различия между внутренним содержанием и следствиями «публикации» тайны и импульсивного общения, с одной стороны, и милосердия, с другой, можно сказать, что все эти действия носили значимый для жизненного процесса характер: не будь их, пусть в небольшой степени и на короткое время облегчающих душевные страдания и смиряющих внутренние противоречия героя, те могли бы вызвать необратимые изменения сознания и психики. И одновременно эти действия носили характер значащий, они намекали, каждое со своей стороны, на некий один, еще не выявленный героем, выход из создавшейся жизненной ситуации, на путь, в котором эти действия будут присутствовать, преображенные в рамках новой целостной, синтезирующей их формы. (Это были как бы компоненты лекарства, которые порознь, может быть, и могли оказать небольшое положительное действие, впрочем, ценой не менее сильных отрицательных «побочных эффектов», но только вместе обретали качество излечивающего вещества.)

Эта форма представляла собой «содержательно-временной ряд» [22]: вина — покаяние — искупление — блаженство. «Вхождение» и «прохождение» по этому ряду было для Раскольникова средством строительства и утверждения того целительного психологического мира, к которому ему уже удавалось на мгновение подключаться, почти случайно нащупывая в стихийных поисках разрешения жизненного кризиса особые действия, служившие своеобразными символическими входами в этот мир.

Однако одно дело — иногда «попадать» в него и совсем другое — «поселиться» в нем; для этого необходимо правильно опознать, внутренне принять и распространить на всю свою жизнь новую систему ценностей. Она объективно актуализировалась упомянутыми действиями (актами служения) в сознании Раскольникова (но, впрочем, субъективно не сознавалась как таковая), она же лежит в основе

выше упомянутого содержательно-временного ряда.

Но что значит принять новую систему ценностей? Это значит в первую очередь отказаться от старой, т. е. отказаться от того, через что Я идентифицировало себя, т. е. отказаться от самого себя. Но это невозможно сделать самому, индивидуально, как невозможно поднять себя за волосы, для этого принципиально необходим Другой, на которого можно было бы опереться. Причем опереться безусловно, полностью положиться на него и довериться ему. Этим Другим для Раскольникова была Соня Мармеладова.

Ее образ изначально противостоит в сознании Раскольникова преступлению и соответствующей ему идеологии («Я тебя давно выбрал, чтобы это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил, и когда Лизавета была жива...»); она — живое воплощение мировоззрения и мироощущения, прямо противоположного тому, в которое он был погружен. Сближение с Соней — это начало вхождения в новый для Раскольникова мир, о чем он два раза получает эмоциональное «предуказание» — сначала он испытал чувство возрождения после упоминавшегося уже акта милосердия по отношению к семье Сони, а затем, сразу после признания ей, когда Соня «обняла его и крепко сжала руками», «давно уже незнакомое ему чувство волной нахлынуло в его душу и разом размягчило ее». Это блаженное ощущение принадлежит уже новой структуре сознания. Другими словами, хотя данный схематизм «вина — покаяние — искупление — блаженство» растянут в содержательно-временной ряд, это не значит, что последующие элементы ряда появляются в сознании только после прохождения предшествующих этапов. Они психологически перекликаются и присутствуют в сознании все вместе, как гештальт, правда, с разной степенью выраженности в различных фазах прохождения ряда. Блаженство дается уже в начале искупительного пути как бы эмоционально-смысловым авансом, необходимым для его преодоления.

В любви Сони Раскольников получает надежную точку опоры, с которой можно, так сказать, производить работы по ценностной перестройке своего сознания. Ему необходимо было прежде всего пере-

осмыслить с позиции новой ценностной системы свое преступление. Признание в преступлении — это только первый, внешний шаг такого переосмысления. За ним следует покаяние, психологический смысл которого заключается в проникновении в мотивы своего поступка, в отыскании его корней и истоков. Осуществляемый индивидуально, этот процесс может быть сколь угодно глубоким, но внутри себя он не содержит никаких критериев истинности, не знает, на какой из возможных трактовок остановиться, грозит уйти в дурную бесконечность непрерывных рефлексивных обращений, и только в диалогической форме исповеди он может быть позитивно завершен. Раскольников предлагает на суд Сони несколько вполне психологически достоверных объяснений своего преступления, которые она (да и сам он) тем не менее отвергает, пока дело не доходит до осознания героем, что он «только осмелиться захотел»:

«Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества... И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил... Мне надо были узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или *право* имею...»

Но почему именно это «осмелиться захотел» вскриком Сони («О, молчите, молчите... От бога вы отошли, и вас бог поразил, дьяволу предал!..») признается подлинным и последним объяснением? Потому, что «дальше некуда», потому что в этом объяснении самое страшное с точки зрения христианского сознания — «гордыня» — начало и источник всякого греха.

В итоге исповеди герой принимает (хотя и не окончательно) Сонино отношение к преступлению, тем самым входя в схематизм уже не со стороны блаженства, а со стороны вины и одновременно отделяя себя от преступления, разотождествляясь с ним («...старушенку эту черт убил, а не я»).

Не только само убийство, но и его истоки и следствия — стремление «быть над и вне людей», преобладающее ощущение смерти, разложение личности,

замкнутость и скрытность — все это имплицитно содержится в религиозном представлении о греховности. Каково значение осознания «греховности» с психологической точки зрения? Сам факт убийства был для Раскольникова бессмысленным, от него не было никакого пути. От осознания его как преступления был путь к признанию в преступлении и принятию социального наказания. Осознание его как «греховного» привело к ценностному осуждению поступка и открыло осмысленную для героя перспективу преодоления его истоков и следствий.

Поскольку психологической почвой «теории» и преступления Раскольникова была установка «быть над людьми» (= «гордыня»), необходимо было в целях восстановления личности разрушить эту установку. Отсюда становится понятной вертикальная ориентированность начала искупительного пути Раскольникова от имевшей такие пагубные последствия вознесенности в «над» — «вниз», символически выразившаяся в трех поцелуях: сначала ноги Сонечки, этого самого «приниженного существа», потом ног матери и, наконец, земли по совету Сони: «Поди.., стань на перекрестке, поклонись [сверху — вниз. — *Ф.В.*], поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизнь пошлет». Это одновременно предельное размыкание психологического пространства — тайна должна быть «опубликована» на «площади», только отсюда, из стихии народного низа и возможно подлинное возрождение к жизни [24].

В результате всех этих действий сознанию Раскольникова удается время от времени подключаться к «схематизму», каждый раз все глубже и глубже проникая в него. Субъективно это проникновение выражается в «размягчающем душу» чувстве, в предчувствии радикальных перемен в себе, в ясности, просветленности сознания.

Однако старое строение сознания сопротивляется этим переменам. Происходит борьба двух систем сознания, старой и новой, за право определять мировосприятие и мироощущение героя. В некоторые моменты наблюдается своеобразная диффузия этих систем, когда в одной мысли, высказывании, настрое-

нии Раскольникова соприсутствуют и идеологически противостоят друг другу идеи и ощущения обеих систем. Иногда происходят резкие скачки из одной системы в другую (ощутив «едкую ненависть» к Соне, Раскольников в следующий же момент понимает, что это была любовь и он просто принял одно чувство за другое). Даже на каторге, которая в новой структуре должна была осмысляться как искупление вины через страдание, борьба двух структур ослабевает очень медленно. И только в самом конце романа, когда Раскольников действительно полюбил Соню, происходит перелом в этой борьбе, и только тогда кончается предыстория и начинается «история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой...»

* *
*

Стоит ли говорить, что пример переживания Раскольникова и в силу литературной условности, и в силу нетипичности для современной действительности его содержания не может быть основой широких обобщений. Однако общеизвестность материала и психологическая проницательность Достоевского делают этот пример очень удобной иллюстрацией многих механизмов переживания. Поэтому мы сочли возможным завершить исследование развернутым анализом этого единичного случая, стремясь, с одной стороны, оставить в сознании читателя живое впечатление всей сложности внутренней динамики деятельности переживания, не сводимой к автоматическому срабатыванию «защитных механизмов», и, с другой стороны, продемонстрировать, что введенные теоретические средства позволяют даже такую сложную для объективно-психологического подхода вещь, как религиозное переживание, включить в сферу строго научного психологического объяснения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая книгу, попытаемся дать себе отчет в том, что удалось в ней сделать и какие, поднятые ходом исследования проблемы и вопросы, остались без ответа.

Основной результат работы, как он видится автору, состоит во введении и разработке категориального комплекса «критическая ситуация — переживание». Введение категории критической ситуации позволило разрозненные психологические представления о стрессе, фрустрации, конфликте и кризисе синтезировать в целостную, внутренне дифференцированную конструкцию, различающую эти экстремальные ситуации не как эмпирические «вещи», а как теоретические типы. Различаются они главным образом по тем внутренним необходимостям жизни, реализация которых в данных условиях психологически невозможна.

Переживание не ведет непосредственно к реализации этих необходимостей, оно направлено на восстановление психологической возможности деятельности по их реализации. Если уподобить критическую ситуацию падению бегущего человека, то переживанию будут соответствовать усилия, потраченные им для того, чтобы встать на ноги и получить тем самым возможность снова продолжить бег. Этот образ кажется

подходящим лишь для внешней деятельности, но он применим и по отношению к деятельности внутренней. Например, переживание конфликта, делающего невозможной внутреннюю деятельность выбора, не производит этот выбор, а лишь перестраивает сознание до тех пор, пока он не станет субъективно возможен[1].

В реальном жизненном процессе эти две активности — переживание и деятельность — могут перетекать друг в друга и даже реализовываться в одном и том же акте, но задача психологической теории как раз в том и состоит, чтобы расчленять эту не

[1] Наша пациентка Н. Л., направленная врачом отделения неврозов на психокоррекционную беседу, жаловалась на неспособность решить свои семейные проблемы. Муж запрещал Н. Л. видеться с матерью. Больная тем не менее продолжала тайно встречаться с нею, испытывая из-за необходимости скрываться чувство вины перед матерью, а из-за возможности разоблачения — чувство страха перед мужем. Анализ жизненной ситуации больной показал, что Н. Л. пыталась действовать так, как если бы ее жизненный мир был прост: она вела себя по отношению к матери так, будто бы не существовало запрета мужа, а по отношению к мужу так, будто бы не существовало ее тайных свиданий с матерью. Другими словами, Н. Л. избегала внутреннего конфликта как такового, боялась ответственно столкнуть в своем сознании эти два жизненных отношения, пытаясь заменить одно внутреннее, ценностное, надситуативное решение проблемы множеством чисто внешних, ситуативных уверток, умалчиваний, компромиссов. Объективно ей, разуется, не удавалось полностью скрыть от обоих родственников сложившуюся ситуацию, что приводило к обидам, ссорам, угрызениям совести вследствие необходимости лгать. Психокоррекция была направлена в первую очередь на осознание не внешнего, а внутреннего характера ее проблематики, которая возникла из-за недостатков и слабости ценностной позиции больной, не сумевшей отстоять перед мужем ценности (а не просто важности) для нее матери, ценности, предавая которую, она чувствовала, что разлагается как личность (и разлагает, по ее признанию, детей, заставляя их лгать отцу). Психокоррекционная работа закончилась тем, что Н. Л., остро осознав эту ценность, поняла необходимость отстаивать и воплощать ее в реальном поведении и развила в себе готовность ради этого пожертвовать («если потребуется!») семейным благополучием, несмотря на то что очень им дорожила.

В этом примере для нас важно то, что переживание, состоявшее в ценностном развитии сознания, не решило само по себе жизненных проблем больной, но превратило мучительный из-за своей неразрешимости конфликт в жизненную сложность, конечно же, тоже нелегкую, но потенциально разрешимую и потому переставшую быть психотравматизирующей. Переживание не осуществило выбор, оно сделало его субъективно возможным.

посредственную реальность, устанавливая «чистые» закономерности, переплетенные в едином процессе жизнедеятельности.

Этой же задаче установления «чистых» закономерностей, но уже не для отделения друг от друга деятельности и переживания, а для анализа самого процесса переживания служит построение типологии жизненных миров, приведшее к выделению четырех принципов (удовольствия, реальности, ценности и творчества), регулирующих протекание переживания.

Хотелось бы подчеркнуть мировоззренческий смысл выделения двух последних принципов в качестве самостоятельных закономерностей: он состоит в демонстрации принципиальной, философско-методологической ограниченности психоаналитической теории защитных процессов, знающей только принципы удовольствия и реальности и сводящей к ним высшие, духовные закономерности психической жизни.

Итак, основной результат исследования — введение и типологизация категорий критической ситуации и переживания-деятельности. Подведение итогов было бы неполным, если бы мы ограничились констатацией позитивных результатов и обошли молчанием вопросы и проблемы, актуализированные ходом исследования, но не нашедшие отражения в книге. Невозможно обсудить все эти вопросы, формулировкой которых мы обязаны коллегам, взявшим на себя труд ознакомиться с книгой в рукописи. Однако по трем наиболее частым и важным из них нам хотелось бы дать хотя бы самые краткие разъяснения.

Первый возрос таков: *можно ли говорить о переживании положительных экстремальных событий?* Заданный в таком виде, он неявно предполагает, будто бы в книге речь шла о переживании отрицательных событий. Большинство наших иллюстраций в самом деле наталкивает на такое понимание, но, строго говоря, оценочная точка зрения на события, создающие критическую ситуацию, в тексте не проводилась. Если включить в анализ такую точку зрения, то сразу же возникает вопрос о критерии оценки события. Ясно, что этот критерий, во-первых, субъективен (даже смерть близкого родственника, как показывает, скажем, пример пушкинского «молодого

повесы», событие отнюдь не всегда отрицательное), во-вторых, изменчив (такое радостное событие, как вступление в брак, увы, слишком часто меняет в сознании супругов свой знак на противоположный), но главное, что этот критерий неоднозначен в силу множественности источников оценки: то, что является положительным исходя из одной жизненной необходимости, может создать критическую ситуацию в отношении другой. Например, большой успех в реализации какого-либо мотива может привести к дезорганизации сложившейся мотивационно-ценностной целостности, и тогда это событие, являясь непосредственно эмоционально положительным, тем не менее потребует работы переживания по восстановлению нарушенного внутреннего единства. Профессор Николай Степанович из «Скучной истории» А. П. Чехова с горечью размышляет о своей жене и дочери: «Такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим, на слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось как большая снеговая глыба и сдавило их».

Итак, первый ответ на поставленный вопрос звучит следующим образом: да, так называемые положительные события также ставят перед человеком задачу переживания в той мере, в какой они, реализуя одну жизненную необходимость, нарушают реализацию других, т. е. в той мере, в которой они создают критическую ситуацию в строгом значении этого термина.

Но все-таки в обсуждаемом вопросе остается еще один, пожалуй главный, смысл: подлежит ли переживанию положительное в положительном событии? Если понимать переживание наиболее широко, как внутреннюю работу по *принятию* фактов и событий жизни, работу по установлению смыслового соответствия между сознанием и бытием, то ответ, разумеется, утвердительный. Вот как фрагмент подобного переживания описан проникновенным словом И. А. Бунина. Начинающий поэт Алексей Арсеньев, неожиданно попав «...в один из самых важных петербургских журналов, очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей да еще получил за это

почтовую повестку на целых пятнадцать рублей». Юноша решает тут же отправиться в город.

«Я ехал особенно шибко. Думал ли я, мечтал ли о чем-нибудь определенно? Но в тех случаях, когда в жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя бы значительное и требуется сделать из этого какой-то вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек думает мало, охотнее отдается тайной работе души. И я хорошо помню, что всю дорогу до города моя как-то мужественно возбужденная душа неустанно работала над чем-то. Над чем? Я еще не знал, только опять чувствовал желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремление куда-то...»

В этом описании мы легко узнаем переживание как работу по преобразованию психологического мира. Но мы связаны собственными дефинициями, напоминающими, в частности, что переживание — это ответ на ситуацию невозможности, или бессмысленности. Ничего подобного в приведенном примере нет, наоборот, ситуация, в которой оказался герой, может быть названа ситуацией «сверхвозможности». В ней избыток возможностей, избыток осмысленности, переполняющий душу героя и не могущий уместиться в конкретной цели и излиться в конкретном действии.

Можно выдвинуть предположение, что необходимость в переживании создается не только ситуацией невозможности, но и ситуацией сверхвозможности. Здесь не место вдаваться в подробный анализ сходств и различий между этими двумя ситуациями. Укажем лишь на то, что и та и другая в плоскости деятельности характеризуются отсутствием разрешающего их внешне ориентированного действия, ибо задача в обоих случаях не внешняя, а внутренняя, смысловая.

Вполне вероятно, что каждому типу ситуации невозможности соответствует тип ситуации сверхвозможности. Например, спортсмена, главная цель и замысел жизни которого было достижение звания чемпиона мира, ждет жизненный кризис в том случае, если из-за травмы этот замысел станет нереализуемым; но его может привести в кризисное состояние и абсолютный успех, реализовавший до конца его жизненный замысел. Замысел, который организо-

вывал и осмыслял всю его жизнь, воплотившись, исчерпывается и как таковой отмирает, ставя перед человеком типично кризисную задачу поиска нового замысла и смысла жизни как целого.

Этими предварительными предположениями мы вынуждены завершить рассмотрение вопроса о «положительных» переживаниях, осознавая, что подробная разработка этой темы может потребовать значительных дополнений, а то и изменений общей категории переживания.

Второй из вопросов, на котором мы хотели бы остановиться, был однажды задан автору в такой форме: «Вводимое Вами понятие переживания совершенно независимо от традиционного понятия переживания или оно лишь вскрывает некоторую новую подоплеку этого традиционного понятия?» Иначе говоря, вопрос ставит под сомнение категоричность, с которой мы противопоставили наше понятие тому, которое бытует в психологии.

Отвечая на это сомнение, мы остаемся убеждены в необходимости строгого различения этих понятий. На научно-понятийном уровне, в отличие от живой обыденной речи, эти два термина не более чем омонимы. Но, противопоставив их как понятия, схватывающие различные аспекты реальности, мы получаем возможность сопоставить их, поднять вопрос о реальных отношениях и взаимосвязях этих аспектов.

Понятие переживания-деятельности фиксирует в первую очередь «экономический» аспект преобразований психологического мира, отвлекаясь, по крайней мере вначале, от конкретных форм, в которых эти преобразования отражаются в сознании и которыми они опосредуются (ибо функция сознания по отношению к деятельности, и к деятельности переживания в том числе, состоит в *опосредующем эту деятельность отражении* ее самой, ее материала, условий, средств, продуктов и т. д.). Понятие переживания-созерцания, как мы установили, означает определенный режим, или уровень, функционирования сознания как системы, существующий и действующий наряду с другими режимами — рефлексией, сознаванием (презентацией) и бессознательным [см. с. 17-18]. Переживание-деятельность опосредуется в общем случае всей многоуровневой системой сознания в целом.

Эти положения позволяют нам выдвинуть гипотезу о *многоуровневом построении переживания* по образцу представлений Н. А. Бернштейна об уровневом построении движения. В каждом конкретном случае деятельности переживания перечисленные уровни сознания для реализации этого процесса образуют некоторое уникальное функциональное единство, в котором тот или другой уровень берет на себя роль ведущего. Скажем, в приводившемся чуть выше примере из «Жизни Арсеньева» И. А. Бунина деятельность переживания строилась преимущественно на *бессознательном уровне* («тайная работа души») при активном участии *уровня непосредственного переживания** («желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремление куда-то»). Когда все эти «какой-то», «чего-то», «куда-то» начинают позитивно определяться, презентироваться в сознании, это говорит о том, что в работу включается *уровень осознавания.* В творческом разрешении так называемых «проблемно-конфликтных» ситуаций особенно важны процессы *рефлексивного уровня* [140].

Коснувшись проблемы представленности деятельности переживания в сознании, нельзя оставить без внимания тесно связанную с ней проблему представленности в сознании критической ситуации. Отнюдь не всякая ситуация, которая из внешней (например, психотерапевтической) позиции может быть квалифицирована как критическая, осознается и самим субъектом как таковая. Эта неточность осознания чаще всего является не просто дефектом восприятия и понимания, т. е. чем-то отрицательным, а положительным продуктом бессознательного защитного переживания, что в психотерапевтическом плане порой требует специальных усилий по разрушению сложившейся защитной иллюзии, будто бы ситуация все-таки разрешима при данных внутренних и внешних условиях. Иначе говоря, иногда приходится искусственно доводить пациента до осознания необоснованности его надежд на наличие прямого и непосредственного решения проблем, чтобы переориентировать его сознание на другую, адекватную сложившейся ситуации активность — активность сознательного переживания вместо ставшей неадекватной активности предметно-практического действия. С точки

зрения гипотезы о многоуровневом построении переживания речь идет в этих случаях о психотерапевтической смене ведущего уровня переживания, о переводе его с регистра бессознательного на регистры сознавания, переживания-созерцания и рефлексии.

Возвращаясь теперь к поставленному выше вопросу, можно сказать, что понятие переживания-деятельности независимо как категория от традиционного понятия переживания* и в то же время оно вскрывает в этом последнем особую подоплеку, а именно: переживание-созерцание является одним из уровней построения переживания-деятельности, причем уровнем, в большинстве случаев наиболее «загруженным» в силу своего «промежуточного» положения между бессознательным и сознаванием. В частности, эмоциональное переживание*, как важнейший из видов переживания-созерцания (последнее, как мы помним [см. с. 17], может быть не только эмоциональным), взятое в этом аспекте, выступает как фрагмент целостной деятельности переживания — фрагмент, роль, смысл и функция которого выясняются лишь в системе параллельно и последовательно текущих бессознательных, «сознавательных» и рефлексивных процессов, опосредующих в совокупности некую жизненно необходимую душевную работу. Это путь, на котором можно окончательно избавиться от все еще живучего предрассудка об эпифеноменальности эмоций. Эмоция — это не только реакция, но и акция, она не только «оценщик» жизненных ситуаций, но еще и «работник», вносящий свой вклад в психологическое разрешение этих ситуаций [44; 237].

Наконец, последний вопрос (точнее полувопрос-полуупрек) связан с отсутствием в книге практических рекомендаций. Как же все-таки помогать другому человеку справляться с критическими жизненными ситуациями? Этот вопрос не нашел прямого отражения в книге по той простой причине, что собственный опыт автора в практической психокоррекционной работе представляется ему совершенно недостаточным, чтобы брать на себя риск давать какие-либо конкретные методические рекомендации. Делать это, исходя преимущественно из теоретических соображений, было бы по меньшей мере безответственно. Психокоррекционная, а тем более психо-

терапевтическая, практика (являющаяся прерогативой врача) настолько сложна и многогранна, что она в принципе не может уместиться в одну, даже самую стройную схему. Самому автору изложенные в книге построения помогают в его непосредственной практической работе, они оказываются полезными для более ясного и четкого осмысления жизненных ситуаций пациентов, для понимания направления и хода их попыток пережить эти ситуации и для психокоррекционного «выравнивания» их переживаний. Но это, конечно, ничего не доказывает, ибо психокоррекция и психотерапия слишком искусство, чтобы можно было даже очевидные случаи успеха объяснять истинностью теоретических схем, которыми руководствовался психотерапевт, а очевидные неудачи — их ложностью.

Для того чтобы связь между теоретическими представлениями о переживании и результатами психокоррекции была не случайной, а необходимой и систематичной, должна быть поставлена и решена *проблема метода.* Отсутствие метода оставляет самую последовательную и аргументированную теорию повисшей в воздухе спекуляцией, поскольку метод — тот единственный мост, по которому могут происходить взаимообогащающие обмены между теорией и практикой. Что касается метода, адекватного теории переживания, то вполне очевидно, что он не может быть чисто исследовательским, реализующим одно лишь познавательное отношение к своему объекту. Он должен быть методом *психотехническим.* Образец такого рода метода в советской психологии мы видим в теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина, где изучаемый предмет, говоря словами знаменитых марксовых тезисов, берется не только в форме объекта, или форме созерцания, а как *человеческая чувственная деятельность, практика,* в которую активно включен и сам исследователь.

Разработка подобного метода, как и вся проблема переживания с теоретической и с практической стороны, является делом многоаспектным, междисциплинарным. Психология не способна сама охватить всю эту проблему целиком. Читатель мог убедиться в этом на примере нашего исследования, где

мы, стараясь провести одну только психологическую точку зрения, вынуждены были абстрагироваться от многих важных аспектов целостной темы. Ввиду принципиальной ограниченности чисто психологического подхода, хотелось бы привлечь внимание к проблеме переживания представителей других дисциплин, прежде всего гуманитарного цикла, которые могли бы внести незаменимый вклад не только в теорию переживания, но и в *практику* психологической помощи. Одними усилиями психотерапевтов, психологов, суицидологов здесь не обойтись. Этнограф, фольклорист, специалист по научному атеизму и истории религий могли бы дать психокоррекционной практике богатейший материал о приемах, способах, методах социальной организации человеческого переживания на разных стадиях общественного развития и в разного типа культурах. Социолог и историк могли бы помочь этой практике исследованием явлений массовой психологии в периоды общественных кризисов, переломных периодов в истории общества. Очень большую роль может сыграть философ. «Схематизмы сознания», опосредующие человеческое переживание, — это особые системы значений, в которых на уровне индивидуального сознания предстают определенные компоненты общественной идеологии и психологии. Поскольку задача философии, как она сформулирована К. Марксом, состоит не только в том, чтобы объяснять мир, но и в том, что бы изменять его, а важнейшую часть изменения мира составляет формирование нового человека, то в *практическое* решение проблемы переживания марксистско-ленинская философия может внести свою лепту творческим созиданием «схематизмов», органически вытекающих из коммунистического мировоззрения и способных наполнять осмысленностью человеческую жизнь даже при самых тяжелых кризисах.

Психология, разумеется, не может претендовать на то, чтобы ставить задачи другим дисциплинам. Это лишь призыв к сотрудничеству в деле развития теории и практики психологической помощи. Автору же остается надеяться, что его труд окажется полезным для специалистов, уже сейчас помогающих человеку в преодолении критических жизненных ситуаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 годов). — К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 12, с. 709—738.
2. Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 годов. — К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 3—508.
3. Энгельс Ф. Диалектика природы. — К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 343—635.
4. Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. М., Наука, 1973. — 278 с.
5. Аверинцев С. С. — Символ. — В кн.: Краткая литературная энциклопедия. М., 1971, т. 6, с. 826—831.
6. Аверинцев С. С. Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии. — В кн.: О современной буржуазной эстетике. М., 1972, вып. 3, с. 110—156.
7. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М.: Наука, 1977. — 320 с.
8. Ангуладзе Т. Ш. Проблема мотива в теориях установки и деятельности. — В кн.: Развитие эргономики в системе дизайна: Тезисы докладов всесоюзной конференции. Боржоми, 1979, с. 213—218.
9. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Современная социальная психология на Западе (теоретические направления). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 271 с.
10. Амбрумова А. Г. Психалгия в суицидологической практике. — Труды / Моск. НИИ психиатрии, 1978, т. 82. Актуальные проблемы суицидологии, с. 73—98.
11. Амбрумова А. Г., Бородин С. В., Тихоненко В. А. Превентивная суицидологическая служба. — Труды / / Моск. НИИ психиатрии, 1978, т. 82. Актуальные проблемы суицидологии, с. 198—214.
12. Амбрумова А. Г., Бородин С. В. Суицидологические исследования в СССР: состояние и проблемы. — Труды / / Моск. НИИ психиатрии, 1981, т. 92. Актуальные проблемы суицидологии, с. 6—26.
13. Аристотель. Поэтика. — Л.: Академия, 1927. — 120 с.
14. Асмолов А. Г. Деятельность и установка. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. — 151 с.
15. Асмолов А. Г., Братусь Б. С., Петровский В. А. и др. О смысловых образованиях личности. — В кн.:

Взаимодействие коллектива и личности в коммунистическом воспитании: Тезисы всесоюзной конференции. Таллин, 1979, с. 111—119.

16. Асмолов А. Г., Братусь Б. С., Зейгарник Б. В. и др. Некоторые перспективы исследования смысловых образований личности. — Вопросы психологии, 1979, № 4, с. 35—46.

17. Бассин Ф. В. О «силе Я» и «психологической защите». — Вопросы философии, 1969, № 2, с. 118—125.

18. Бассин Ф. В. О развитии взглядов на предмет психологии. — Вопросы психологии, 1971, № 4, с. 101—113.

19. Бассин Ф. В. «Значащие» переживания и проблема собственно-психологической закономерности. — Вопросы психологии, 1972, № 3, с. 105—124.

20. Бассин Ф. В., Рожнов В. Е., Рожнова М. А. К современному пониманию психической травмы и общих принципов ее психотерапии. — В кн.: Руководство по психотерапии. М., 1974, с. 39—53.

21. Бассин Ф. В., Прангишвили А. С., Шерозия А Е. Роль неосознаваемой психической деятельности в развитии и течении соматических клинических симптомов. — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 2, с. 195—215.

22. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Художественная литература, 1975. — 504 с.

23. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979. — 423 с.

24. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М.: Художественная литература, 1965. — 527 с.

25. Березин Ф. Б. Некоторые механизмы интрапсихической адаптации и психосоматическое соотношение. — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 2, с. 281—291.

26. Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Рожанец Р. В. Методика многостороннего исследования личности (в клинической медицине и психогигиене). — М.: Медицина, 1976. — 176 с.

27. Бернштейн Н. А. О построении движений. — М.: Медгиз, 1947. — 255 с.

28. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. — М.: Медицина, 1966. — 349 с.

29. Бехтерев В. М. Общие основы рефлексологии человека. — М.: Госиздат, 1926. — 423 с.

30. Бодалев А. А. Формирование личности — актуальная проблема комплексного психолого-педагогического исследования. — В кн.: Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся. М., 1980, с. 6—9.

31. Бодалев А. А., Ломов Б. Ф., Лучков В. В. Психологическую науку на службу практике. — Вопросы психологии, 1979, № 4, с. 17—22.

32. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1968. — 464 с.

33. Божович Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка. — В кн.: Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 1972, с. 7—44.

34. Бородай Ю. М. Древнегреческая классика и судьба буржуазной культуры. — В кн.: А. Ф. Лосев. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963, с. 3—31.

35. Братусь Б. С. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. — 95 с.

36. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности. — Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология, 1981, № 2, с. 46-—55.

37. Брунер Дж. Психология познания. — М.: Прогресс, 1977. — 412 с.

38. Брудный В. И. Обряды вчера и сегодня. — М.: Наука, 1968. — 200 с.

39. Бурлачук Л. Ф. О проекции как принципе построения методов исследования личности. — В кн.: Вопросы диагностики психического развития: Тезисы симпозиума. Таллин, 1974, с. 33—34.

40. Бурлачук Л. Ф. Проблема исследования бессознательного психического проективными методами. — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978. т. 3, с. 638—643.

41. Вернадский В. И. Размышления натуралиста: В 2-х т. — М.: Наука, 1975—1977. — Т. 1. Пространство и время в неживой и живой природе, 1975. — 173 с.

42. Ветров А. А. Замечания по вопросу о предмете психологии. — Вопросы психологии, 1972, № 2, с. 124—127.

43. Вилюнас В. К. К теоретической постановке проблемы стресса. — В кн.: Материалы Вильнюсской конференции психологов Прибалтики. Вильнюс, 1972, с. 227—228.

44. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 142 с.

45. Волошинов В. Н. Фрейдизм. — М.; Л.: Госиздат, 1927. — 164 с.

46. Вундт В. Введение в психологию. — М.: Космос, 1912. — 152 с.

47. Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса. — Соч. в 6-ти томах. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии. М., 1982, с. 291—437.

48. Выготский Л. С. Диагностика развития и педагогическая клиника трудного детства. — М.: Изд-во экспериментального дефектологического института, 1936. — 78 с.

49. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. — 519 с.

50. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. — 598 с.

51. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Предисловие к русскому переводу кн. 3. Фрейд. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1925, с. 3—16.

52. Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 150 с.

53. Гасанов М. К. Внутриличностный конфликт и психологическая защита. — М., 1980. — 32 с. — Курс. работа на ф-те психологии МГУ.

54. Гачев Г. Д. Космос Достоевского. — В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973, с. 110—124.

55. Генисаретский О. И. Методологическая организация системной деятельности. — В кн.: Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании. М., 1975, с. 409—512.

56. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. — М.: Педагогика, 1972. — 423 с.

57. Давыдов В. В., Зинченко В. П. Принцип развития в психологии. — Вопросы философии, 1980, № 12, с. 47—60.

58. Давыдов В. В., Радзиховский Л. А. Теория Л. С. Выготского и деятельностный подход в психологии. — Вопросы психологии, 1980, № 6, с. 58—59; 1981, № 1, с. 67—80.

59. Давыдов Ю. Н. Поминки по экзистенциализму. — Вопросы литературы, 1980, № 4, с. 190—230.

60. Даль В. И. Толковый словарь живого русского языка. — М.: Русский язык, 1980, т. III. — 555 с.

61. Декарт Р. Избранные произведения. — М.: Госполитиздат, 1950. — 712 с.

62. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. — М.: Русская мысль, 1910. — 518 с.

63. Додонов Б. Г. Эмоция как ценность. — М.: Политиздат, — 1978. — 272 с.

64. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. — М.: Наука, 1970. — 808 с.

65. Забродин Ю. М. Проблемы разработки практической психологии. — Психологический журнал, 1980, т. 1, № 2, с. 5—18.

66. Запорожец А. В., Неверович Я. З. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка. — Вопросы психологии, 1974, № 6, с. 59— 73.

67. Зейгарник Б. В. Опосредствование саморегуляции в норме и патологии. — Вести. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология, 1981, № 2, с. 9—15.

68. Зейгарник Б. В., Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального развития личности. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 157 с.

69. Зинченко В. П., Величковский Б. М., Вучетич Г. Г. Функциональная структура зрительной памяти. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 217 с.

70. Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Об объективном методе в психологии. — Вопросы философии, 1977, № 7, с. 109—125.

71. Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Изучение высших психических функций и эволюция категорий бессознательного. — В кн. Развитие эргономики в системе дизайна: Тезисы докладов всесоюзной конференции. Боржоми, 1979, с. 270—282.

72. Изард К. Эмоции человека. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 439 с.

73. Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — 285 с.

74. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. — Соч. в 6-ти томах. М., 1966, т. 6, с. 349—583.

75. Коган В. М., Роговин М. С. Прожективные методы в современной зарубежной психологии личности и патопсихоло-

гии. — Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1964, т. 64, вып. 4, с. 616—625.

76. Кон И. С. Секс, общество, культура. — Иностранная литература, 1970, № 1, с. 243—255.

77. Коченов М. М. К вопросу о нарушении процесса смыслообразования у больных шизофренией. — В кн.: Психологические исследования. М., 1970, вып. 2, с. 179—187.

78. Коченов М. М., Николаева В. В. Мотивация при шизофрении. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 88 с.

79. Кречмер Э. Об истерии. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. — 159 с.

80. Крывелев И. А. О загробной жизни и погребальных обрядах. — М.: ГАИЗ, 1937. — 48 с.

81. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования. — В кн.: Эмоциональный стресс. М., 1970, с.178 — 209.

82. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. — М.: ОГИЗ—ГАИЗ, 1937. — 518 с.

83. Левитов Н. Д. Фрустрация как один из видов психических состояний. — Вопросы психологии, 1967, № 6, с. 118—129.

84. Леонтьев А. Н. Развитие памяти. — М.: Учпедгиз, 1931. — 280 с.

85. Леонтьев А. Н. О некоторых перспективных проблемах советской психологии. — Вопросы психологии, 1967, № 6, с. 7—22.

86. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы, эмоции. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. — 38 с.

87. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. — 575 с.

88. Леонтьев А. Н. Деятельность и сознание. — Вопросы философии, 1972, № 12, с. 129—140.

89. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1975. — 304 с.

90. Леонтьев А. Н., Лурия А. Р. Психология. — В кн.: БСЭ, 1-е изд., 1940, т. 47, с. 511—548.

91. Леонтьев А. Н., Овчинникова О. В. Анализ системного строения восприятия. Сообщение V. О механизмах анализа слуховых раздражителей. — Доклады АПН РСФСР, 1958, № 3, с. 43—48.

92. Леонтьев А. Н., Гиппенрейтер Ю. Б. Влияние родного языка на формирование слуха. — Доклады АПН РСФСР, 1959, № 2, с. 59—63.

93. Леонтьев А., Ломов Б., Кузьмин В. Актуальные задачи психологической науки. — Коммунист, 1976, № 6, с. 73—82.

94. Ломидзе Т. А. Общая теория фундаментальных отношений личности и некоторые особенности художественного творчества. — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 2, с. 505—511.

95. Ломов Б. Ф. Теория, эксперимент и практика в психологии. — Психологический журнал, 1980, т. 1, с. 8—20.

96. Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя класссика). — М.: Высшая школа, 1963. — 583 с.

97. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — М.: Искусство, 1976. — 367 с.

98. Лурия А. Р. Психология как историческая наука. — В кн.: История и психология. М., 1971, с. 36—62.

99. Мамардашвили М. К. Анализ сознания в работах Маркса. — Вопросы философии, 1968, № 6, с.14—25.

100. Мамардашвили М. К. Формы и содержание мышления. — М.: Высшая школа, 1968. — 191 с.

101. Мамардашвили М. К. Обязательность формы. — Вопросы философии, 1976, № 12, с.134—137.

102. Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии. — В кв.: Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972, с. 28—94.

103. Мишина Т. М. К исследованию психологического конфликта при неврозах. — Труды / Ленингр. науч.-исслед. Психоневрологического ин-та им. В. М. Бехтерева, 1972, т. 6. Неврозы и пограничные состояния, с. 35—38.

104. Мясищев В. И. Личность и неврозы. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. — 526 с.

105. Наенко Н. И. Психическая напряженность. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 112 с.

106. Наенко Н. И., Овчинникова О. В. О различении состояний психической напряженности. — В кн.: Психологические исследования. — М., 1970, вып. 2, с. 40—46.

107. Нюттен Ж. Мотивация. — В кн.: Экспериментальная психология. / Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже. М., 1975, вып. V, гл. XV, с. 15—109.

108. Овчинникова О. В. О классификации состояний психической напряженности. — В кн.: Материалы III Всесоюзного съезда общества психологов СССР. М., 1968, т. III, вып. 1, с. 228—230.

109. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М.: Советская энциклопедия, 1968. — 900 с.

110. Организационное программирование дизайн-систем / Сидоренко В. Ф., Кузьмичев Л. А., Генисаретский О. И., Переверзев Л. Б. — Труды / ВНИИТЭ. Техническая эстетика. М., 1980, вып. 26. Проблемы и принципы организации деятельности по созданию дизайн-программ, с. 11—42.

111. Петровский В. А. К психологии активности личности. — Вопросы психологии, 1975, № 3, с. 26—38.

112. Петровский В. А. Активность субъекта в условиях риска: Автореф. канд. дисс. — М., 1977. — 18 с.

113. Петровский В. А. К пониманию личности в психологии. — Вопросы психологии, 1981, № 2, с. 40—46.

114. Платон. Избранные диалоги. — М.: Художественная литература, 1965. — 442 с.

115. Портнов А. А., Федотов Д. Д. Психиатрия. — М.: Медицина, 1971. — 471 с.

116. Пузырей А. А. Смыслообразование в процессах перцептивной деятельности. — В кн.: Восприятие и деятельность. М., 1976, с. 293—319.

117. Пузырей А. А. Смысловая регуляция построения пространственного образа. — Автореф. канд. дис. — М., 1980. — 19 с.

118. Разумов Р. С. Эмоциональные реакции и эмоциональный стресс. — В кн.: Эмоциональный стресс в условиях нормы и патологии человека. Л., 1976, гл. I, с. 5—32.

119. Рейковский Я. Просоциальная деятельность и понятие собственного «я». — Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология, 1981, № 1, с. 14—22.

120. Реньге В. Э. Методика тематического апперцептивного теста. — В кн.: Дридзе Т. М., Реньге В. Э. Психология общения. Рига, 1979, с. 33—66.

121. Рожнов В. Е., Бурно М. Е. Учение о бессознательном и клиническая психотерапия: постановка вопроса. — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 2, с. 346—353.

122. Розов А. И. Переживание комического в свете некоторых более общих закономерностей психической деятельности. — Вопросы психологии, 1979, № 2, с. 117—125.

123. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Учпедгиз, 1946. — 704 с.

124. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 328 с.

125. Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — 354 с.

126. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — М.: Педагогика, 1976. — 415 с.

127. Русский народный свадебный обряд / Под ред. В. К. Чистова и Т. А. Бернштам. — Л.: Наука, 1978. — 280 с.

128. Савенко Ю. С. К обоснованию некоторых методик по изучению личности. — В кн.: Проблемы личности: Материалы симпозиума. М., 1969, с. 238—241.

129. Савенко Ю. С. Основные проблемы учения о психологических компенсаторных механизмах. — В кн.: Клинико-психологические исследования личности: Материалы симпозиума 16—17 декабря 1971 г. Л., 1971, с. 70—72.

130. Савенко Ю. С. Проблема психологических компенсаторных механизмов и их типология. — В кн.: Проблемы клиники и патогенеза психических заболеваний. М., 1974, с. 95—112.

131. Савенко Ю. С. Проективные методы в исследовании бессознательного. — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 3, с. 632—637.

132. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. — М.: Медицина, 1960. — 254 с.

133. Селье Г. Стресс без дистресса. — М.: Прогресс, 1979. — 125 с.

134. Семейная обрядность народов Сибири. Опыт сравнительного изучения. / Под. ред. И. С. Гурвича. — М.: Наука, 1980. — 240 с.

135. Семичев С. Б. Теория кризисов и психопрофилактика. — Труды / Ленингр. науч.-исслед. психоневрологического ин-та им. В. М. Бехтерева, т. 63. Неврозы и пограничные состояния. Л., 1972, с. 96—99.

136. Словарь современного русского литературного языка. / / Под ред. Котеловой Н. 3. и Кочевской Т. А. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959, т. 9. — 1482 с.

137. Соколова Е. Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 128 с.

138. Соколова Е. Т. К теоретическому обоснованию проективного метода исследования личности. — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 3, с. 622—631.

139. Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 174 с.

140. Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Рефлексия в организации творческого мышления и саморазвитии личности. — Вопросы психологии, 1983, № 2, с. 35—42.

141. Спиноза Б. Этика. — Избр. произв. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1957, т. I, с. 359—618.

142. Столин В. В. Внутренние преграды и конфликтные личностные смыслы. — В кн.: Тезисы VIII Закавказской конференции психологов. Ереван, 1980, с. 281—282.

143. Суханов И. В. Обычаи, традиции, обряды как социальные явления. — Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1973. — 256 с.

144. Топоров В. Н. Поэтика Достоевского и архаичные схемы мифологического мышления. — В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973, с. 91—110.

145. Топоров В. Н. Еще раз о древнегреческой ΣΟΦΙΑ: происхождение слова и его внутренний смысл. — В кн.: Структура текста. М., 1980, с. 148—173.

146. Трусов В. П. Социально-психологические исследования когнитивных процессов. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. — 143 с.

147. Ушакова Э. И., Ушаков Г. К., Илипаев И. Н. Об уровнях формирования стрессоров и стрессов. — Труды / Ленингр. науч.-исследов. психоневрологического ин-та им. В. М. Бехтерева, т. 82. Эмоциональный стресс и пограничные нервно-психические расстройства. Л., 1977, с. 5—20.

148. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. — М.: Наука, 1966. — 451 с.

149. Флоренская Т. А. Катарсис как осознание. — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 2, с. 562—570.

150. Флоренская Т. А. Проблема психологии катарсиса как преобразования личности. — В кн.: Психологические механизмы регуляции социального поведения. М., 1979, с. 151—174.

151. Флоренская Т. А., Макеева М. Ю. Колючки совести. — Семья и школа, 1983, № 10.

152. Франкенхойзер М. Некоторые аспекты исследований в физиологической психологии. — В кн.: Эмоциональный стресс / Под ред. Л. Леви. Л., 1970, с. 24—36.

153. Фрейд З. Толкование сновидений. — М.: Современные проблемы, 1913. — 448 с.

154. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. — М.; Пг.: Госиздат, 1923. — 250 с.

155. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. — М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. — 206 с.

156. Фрейд З. Я и Оно. — Л.: Академия, 1924. — 62 с.

157. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. — М.: Современные проблемы, 1925. — 110 с.

158. Фресс П. Эмоции. — В кн.: Экспериментальная пси-

хология. / Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже. М., 1975, вып. V, гл. XVI, с.111—195.

159. Фуко М. Слова и вещи. — М.: Прогресс, 1977. — 488 с.

160. Фресс П., Пиаже Ж. (ред.). Экспериментальная психология. — М.: Прогресс, 1975, вып. V. — 284 с.

161. Шустиков В. С. О разработке актуальных проблем психологической науки. — Психологический журнал, 1980, т. I, № 3, с. 134—143.

162. Щедровицкий Г. П. Общая идея метода восхождения от абстрактного к конкретному. — В кн.: Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании. М., 1975, с.161—169.

163. Эмоциональный стресс / Под ред. Л. Леви. — Л.: Медицина, 1970. — 326 с.

164. Эмоциональный стресс в условиях нормы и патологии человека / Ю. М. Губачев, Б. В. Иовлев, В. Д. Карвасарский и др. — Л.: Медицина, 1976. — 224 с.

165. Юнг К. Психологические типы. — Цюрих: Мусагет, 1929. — 475 с.

166. Юнг К. Libido. Ея метаморфозы и символы. — Избр. тр. По аналитич. психологии. Цюрих: Изд. Психологич. клуба в Цюрихе, 1939, т. 2. — 400 с.

167. Юнг К. Инстинкт и бессознательное. — Избр. тр. по аналитич. психологии. Цюрих, 1939, т. 3, с. 348—357.

168. Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. — М.: Политиздат, 1974. — 447 с.

169. Allen A. Stealing as a defense. — Psychoanalytical quarterly, 1965, vol. 34, p. 572—583.

170. Allport G. W. Personality. A psychological interpretation. — N.Y.: Holt, 1938. — 588 p.

171. Allport G. W. Pattern and growth in personality. — N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1964. — 593 p.

172. Averill J. P. Personal control over aversive stimuli and its relationship to stress. — Psychological bulletin, 1973, vol. 80, No 4, p. 286—303.

173. Barker R. G., Dembo T., Lewin K. Frustration and aggression: an experiment with young children. — In: Studies in topological and vector psychology, vol. 11, Univ. Jowa Stud. Child Welfare, 1941, 18, No 1.(386), p. 1—314.

174. Berne E. Games people play. The psychology of human relationships. — London: Andre Deutsch, 1966. — 192 p.

175. Blanch G., Blanch R. Ego psychology: theory and practices. — N.Y.: Columbia univ. press, 1974. — 394 p.

176. Brentano F. Psychologie vom empirischen standpunkte. — Leipzig: Meiner, 1924, bd. 1. — 278 s.

177. Breuer J., Freud S. Studies on hysteria. — Harmondsworth: Penguin books, 1978. — 425 p.

178.Caplan G. Emotional crises. — In: The encyclopedia of mental health. N.Y., 1963, vol. 2, p. 521—532.

179. Caplan G., Grunebaum H. Perspectives on primary prevention. — Archives of General psychiatry, 1967, vol. 17, No 3, p. 331—347.

180. Child A. R., Waterhous I. K. Frustration and the quality of performance: I. A critique of the Barker, Dembo and

Lewin experiment. — Psychological review, 1952, vol. 59, No 5, p. 351—362.

181. Conflict, decision, and dissonance. / Ed. by L. Festinger. — Standford: Standford univ. press, 1967. — 163 p.

182. Coping with physical illness. / Ed. by R. H. Moos. — N.Y.: Plenum medical book, 1977. — 440 p.

183. Dembo T. Der ärger als dynamisches problem. — Psychol. Forsch., 1931, bd. 15. — 144 p.

184. Encyclopedia of psychoanalysis. / Ed by L. Eidelberg. — N.Y.: Free press, 1968. — 571 p.

185. Encyclopedia of psychology. / Ed. by H. I. Eysenck, W. Arnold, R. Meili. — L.: Fontana-Collins, 1975, vol. 1—2.

186. Fenichel O. The psychoanalytical theory of neurosis. — N.Y.: Norton, 1945. — 703 p.

187. Festinger L. A theory of cognitive dissonance. — Evanston: Row, Peterson & C°, 1957. — 289 p.

188. Freud A. The ego and the mechanisms of defense. — L.: Hogarth press, 1948. — 196 p.

189. Freud S. The neuro-psychoses of defense. — The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. L.: Hogartn press and the Institute of Psychoanalysis, 1962, vol. III, p. 45—61.

190. Freud S. Inhibition, symptoms and anxiety. — The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. L.: Hogarth press and the Institute of Psychoanalysis, 1959, vol. XX, p. 77—175.

191. Freud S. Analysis terminable and interminable. — The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. L.: Hogarth press and the Institute of Psychoanalysis, 1964, vol. XXIII, p. 216—253.

192. Fromm E. The heart of man. — N. Y.: Harper & Row, 1971. — 212 p.

193. Goldenson R. M. The encyclopedia of human behavior, psychology, psychiatry and mental health. — N. Y.: Doubleday & C°, 1970, vol. 1—2.

194. Goldstein K. The organism. — N. Y.: American book, 1939. — 533 p.

195. Hamburg D. A., Adams J. E. A perspective of coping behavior. — Archives of general psychiatry, 1967, vol. 17, p. 277—284.

196. Hartman H. Essays on ego psychology. Selected problems in psychoanalytic theory. — N. Y.: Intern. univ. press, 1964. — 492 p.

197. Hartman H., Loewenstein R. M. Notes on the superego. — The psychoanalytic study of the child. N. Y., 1962, vol. 17, p. 42—81.

198. Hatton C. L., Valente Sh. McB., Rink A. Suicide: Assessment and intervention. — N. Y.: Appleton—Century—Crofts, 1977. — 220 p.

199. Hilgard E. R., Atkinson R. C. Introduction to psychology. — N. Y.; Chicago: Harcourt, Brace & World, 1967. — 686 p.

200. Hillman J. Jung's contribution to «Feelings and emotions»: synopsis and implications. — In: Feelings and emotions: The Loyola simposium. N. Y.; L., 1970, p. 125—134.

201. Hine F. R. Introduction to psychodynamics: a conflict-adaptational approach. — Durham: Duke univ. press, 1971 — 95 p.

202. Hoff L. A. People in crisis: understanding and helping. — Menlopark (Calif.): Addison — Wesley publ. C°, 1978. — 336 p.

203. Hoffer W. Notes on the theory of defense. — The psychoanalytic study of the child. N. Y., 1968, vol. 23, p. 178—188.

204. Holmes D. S. Projection as a defense mechanism. — Psychological bulletin, 1978, vol. 85, No 4, p. 677—688.

205. Horney K. Our inner conflicts. A constructive theory of neurosis. — N. Y.: Norton, 1966. — 250 p.

206. Jacobson G. F. Programs and techniques of crisis intervention. — In: American handbook of psychiatry. / Ed. by S. Arieti — N. Y., 1974, p. 810—825.

207. Janet P. L'evolution de la mémoire et de la notion du temps. — Paris: Chanine, 1928, v. 1—3.

208. Janis I. L., Mahl G. F., Kagan J., Holt R. R. Personality. Dynamic, development, and assessment. — N. Y.: Harcourt, Brace & World, 1969. — 859 p.

209. Jung C. G. Archetypes and the collective unconscious. — L.: Routledge & Paul, 1959. — 462 p.

210.Kisker G. W. The disorganised personality. — N. Y.: McGrow Hill, 1972. — 562 p.

211. Klopfer B. Suicide: The Jungian point of view.— In: The cry for help. N. Y.; L., 1961, p. 193—204.

212. Kofta M. Some interrelation between consciousness, behavior integration and defense mechanisms. — Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978, т. 3, с. 402—413.

213. Kroeber Th. C. The coping functions of the ego mechanisms. — In: The study of lives. N. Y., 1963, p. 178—198.

214. Lazarus R. S. A laboratory approach to the dynamic of psychological stress. — In: Contemporary research in personality. / Ed. By L. G. Sarason. — Princeton, 1969, p. 94—105.

215. Lewin K. The dynamic theory of personality. — N. Y.: McGraw Hill, 1935. — 286 p.

216. Lewin K. Principles of topological psychology. — N. Y.; L.: McGraw Hill, 1936. — 231 p.

217. Lindemann E. Symptomatology and management of acute grief. — American journal of psychiatry, 1944, vol. 101, No 2, p. 141—148.

218. Lowenfeld H. Notes on shamelesness. — The psychoanalytic quarterly, 1976, vol. 45, No 1, p. 62—72.

219. Maher B. A. Principles of psychopathology. — N. Y.: McGraw Hill, 1966. — 525 p.

220. Maier N. R. B. Frustration: the study of behavior without a goal. — N. Y.: McGraw Hill, 1949. — 264 p.

221. Maier N. R. B. Frustration theory: restatement and extention. — Psychological review, 1956, vol. 63, No 6, p. 370—388.

222. Maslow A. H. A theory of human motivation. — Psychological review, 1943, vol. 50, No. 4, p. 382.

223. Maslow A. H. Motivation and personality. — N. Y.: Harper & Brothers, 1954. — 411 p.

224. Menaker E. The self-image as defense and resistance. — Psychoanalytical quarterly, 1960, vol. 29, p. 72—81.

225. Miller D. R., Swanson G. E. The study of conflict. — Nebraska simposium on motivation, 1956, vol. 4, p. 137—179.
226. Miller D. R., Swanson G. E. Inner conflict and defense. — N. Y.: Henry, Holt & C, 1960. — 452 p.
227. Mishkinsky M. Humour as a «courage mechanism». — Israel annals of psychiatry & related disciplines, 1977, vol. 15, No 4, p. 352—363.
228. Moos R. H., Tsu V. D. The crisis of physical illness: an overview. — In: Coping with physical illness. N. Y., 1977, p. 3—21.
229. Myers W. A. Micropsia and testicular restriction. — The psychoanalytic quarterly, 1977, vol. 46, No 4, p. 580—605.
230. Peters R. S. Education of emotions. — In: Feelings and emotions: The Loyola simposium. N. Y., 1970, p. 187—203.
231. Psychological stress. / Ed. by M. H. Appley, R. Trumbull. — N. Y.: Appleton-Century-Crofts, 1967. — 471 p.
232. Rangell L. The scope of intrapsychic conflict: microscopic and macroscopic consideration. — The psychoanalytic study of the child. N. Y., 1963, vol. 18, p. 75—102.
233. Rapaport D. Structure of psychoanalytic theory: a systematisation attempt. — Psychological issues, 1960, vol. 11, p. 1—158.
234. Rapaport D., Gill M. M. The points of view and assumption of metapsychology. — Intern. journ. of psychoanalysis, 1959, vol. 49, p. 153—162.
235. Rycroft Ch. A critical dictionary of psychoanalysis. — L.: Nelson, 1968. — 189 p.
236. Sarnoff A. Personality. Dynamic and development. — N. Y.: Wiley & Sons, 1962. — 572 p.
237. Sartre J.-P. Exquisse d'une théorie des émotions. — Paris: Hormann, 1965. — 64 p.
238. Schafer R. Psychoanalytical interpretation in Rorschach testing. — N. Y.: Grune & Stratton, 1954. — 446 p.
239. Sells S. B. On the nature of stress. — In: Social and psychological factors in stress. N. Y., 1970, p. 134—139.
240. Selye H. Stress, cancer and the mind. — In: Cancer, stress, and death. N. Y.; L., 1979, p. 11—19.
241. Sjöbäck H. H. The psychoanalytic theory of defensive processes. — Lund: Gleerup, 1973. — 297 p.
242. Skinner B. F. Cumulative record. — N. Y.: Appleton—Century—Crofts, 1959. — 430 p.
243. Skinner B. F. About behaviorism. — N. Y.: Khopf, 1974. — 256 p.
244. Sperling O. E. Exaggeration as a defense. — Psychoanalytical quarterly, 1963, vol. 32, p. 533—548.
245. Sperling S. J. On denial and the essential nature of defense. — International journal of psychoanalytical science, 1958, vol. 39, p. 25—38.
246. Spitz R. A. Some early prototypes of ego defenses. — Journal of American Psychoanalytic association, 1961, vol. 9, p. 626—651.
247. Stolorow R. D., Lachman F. M. Early object loss and denial. Development considerations. — The psychoanalytic quarterly, 1975, vol. 44, No 4, p. 596—611.

248. Suicide in different cultures. / Ed. by Farberow N. L. — Baltimore: Univ. Park press, 1975. — 286 p.

249. The cry for help. / Ed. by N. L. Farberow, E. S. Shneidman — N. Y.: McGraw Hill, 1965. — 398 p.

250. Tatelbaum. The courage to grieve. — N. Y.: Lippincott and Crowll, 1980. — 177 p.

251. Tolman E. C. Collected papers in psychology. — Los Angeles: Univ. of California press, 1951. — 269 p.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3
От автора 8
Введение 16
Глава I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЕРЕЖИВАНИИ
§ 1. Проблема критической ситуации 31
Стресс 33
Фрустрация 36
Конфликт 42
Кризис 45
§ 2. Процесс переживания 49
Целевая детерминация переживания 50
«Успешность» переживания 54
Техника переживания 58
Проблема классификации процессов переживания 76
Глава II. ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ
§ 1. Построение типологии «жизненных миров 78
§ 2. Тип 1. Внешне легкий и внутренне простой жизненный мир 94
Описание мира 94
Прототип 98
Гедонистическое переживание 100
§ 3. Тип. 2. Внешне трудный и внутренне простой жизненный мир 105
Описание мира 105
Прототип 112
Реалистическое переживание 113
§ 4. Тип. 3. Внутренне сложный и внешне легкий жизненный мир 116
Описание мира 116
Ценностное переживание 128
Прототип 136
§ 5. Тип. 4. Внутренне сложный и внешне трудный жизненный мир 136
Описание мира 136
Творческое переживание 147
§ 6. Идеальные типы и эмпирический процесс переживания 151
Глава III. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ 156
Заключение 177
Литература 187

View publication stats